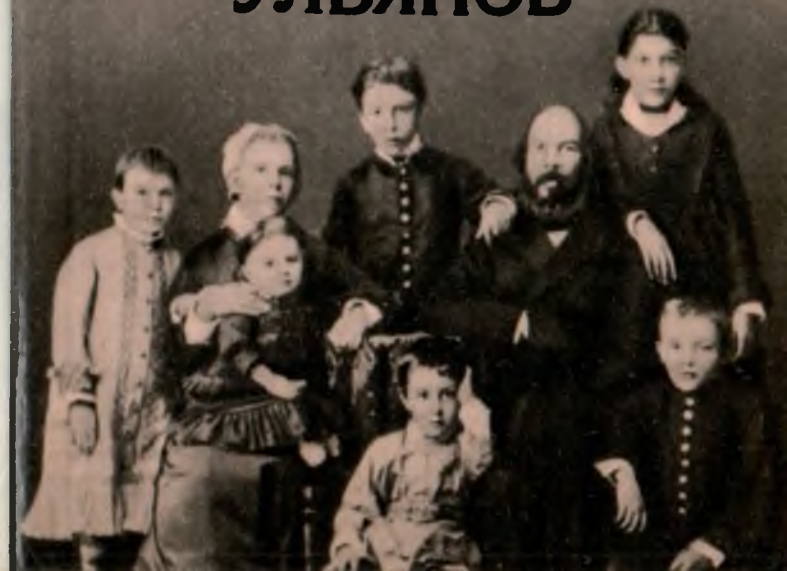
Владимир Сутырин. АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

Серия
«СЕМЬЯ
УЛЬЯНОВЫХ»



АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ





Серия
«Семья
УЛЬЯНОВЫХ»

Владимир Сутырин

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

(1866—1887)

Издание третье

Москва
Издательство
политической
литературы
1979

63.3(2)51
С90

Сутырин В. А.
С90 Александр Ульянов. (1866—1887).— 3-е изд.— М.: Политиздат, 1979.—167 с., ил.— (Семья Ульяновых).

Александр Ульянов, старший брат В. И. Ленина, прожил всего 21 год. В мае 1887 года за подготовку покушения на царя он был казнен. О короткой его жизни и революционной деятельности рассказывается на страницах книги писателя В. А. Сутырина.

С $\frac{10604—104}{079(02)—79}$ 92—79

63.3(2)51
9(С)16

ОТ АВТОРА

8 мая 1887 года на эшафоте, установленном во дворе Шлиссельбургской крепости, оборвалась жизнь Александра Ильича Ульянова. Ему тогда исполнился 21 год.

Михаил Васильевич Новорусский, приговоренный вместе с ним к повешенью (оно было заменено ему бессрочной каторгой), отсидев девятнадцать лет в одиночной камере той же крепости, писал о своем товарище:

«Он сгорел, не успевши вырасти. Его вырвали из жизни, не дав сложиться окончательно этой даровитой личности с благороднейшим нравственным обликом. Он мелькнул, как метеор, на историческом небосклоне еще за 18 лет до первого просвета в нашей общественной жизни, до первой российской революции 1905 года, и за 30 лет до нашей пролетарской революции».

Как всякий афоризм, душа которого — краткость, это сравнение с метеором не может, конечно, служить исчерпывающей характеристикой. Но афоризм удачный всегда остро схватывает в характеризуемом

человеке, явлении что-то наиболее яркое, существенное. Образ метеора, примененный к Александру Ульянову, нам представляется счастливой находкой Новорусского.

Действительно, активная революционная деятельность Ульянова была подобна быстротечному существованию метеора в земной атмосфере. Если даже включить в нее речь на суде, содержавшую бесстрашную критику царского строя, то и тогда вся она уложится в какие-нибудь пять месяцев.

Будто ослепительная вспышка сгорающего метеора, она на мгновение осветила беспросветный мрак реакционного царствования Александра III.

Ученые, анализируя спектр излучения небесного пришельца, получают понятие о его химической природе. Мы же, анализируя особенности террористического заговора, в котором участвовал Александр Ульянов, можем многое понять в характере последнего и составить представление о мотивах, приведших к покушению на царя.

Разумеется, такой анализ невозможен, если замкнуться в трехмесячном интервале времени, когда складывалась и действовала террористическая группа, в которую входил Ульянов. Недостаточен и трехлетний период его студенческой жизни в Петербурге. Понадобится заглянуть в Симбирск, город детства и ранней юности. Не обойтись нам без упоминаний об отце, матери, об атмосфере, царившей в этой удивительной семье.

И все-таки в небольшой книге, которую вы, читатель, взяли в руки, все события в жизни Александра Ульянова, все перипетии так и не завершившегося процесса созревания его личности будут стянуты в один узел — короткую историю покушения на жизнь Александра III. А на этом фоне мы попытаемся набросать эскиз — не более того — к психологическому портрету Александра Ильича.

В чем видит автор смысл такого построения книги?

Попытка цареубийства, предпринятая группой Ульянова, в литературе иногда называется «второе 1 марта». Но это отражает лишь случайное совпадение календарных дней двух разных событий — 1 марта 1881 года, когда народовольцы убили Александра II, и 1 марта 1887 года, когда бомбометатели группы Ульянова в третий раз вышли на Невский в надежде встретить карету Александра III и были схвачены полицией. Глубокое различие этих двух террористических акций отнюдь не исчерпывается тем, что народовольцы достигли цели, а «вторым» первомартовцам отчаянно не повезло.

Ленинская оценка индивидуального террора как бесполезного и даже вредного оружия революционной борьбы, когда он не связан с массовым революционным движением и не диктуется конкретными условиями момента, давно уже стала для нас аксиомой. Однако мы до сих пор не перестаем

восхищаться героями «Народной воли». Восхищаемся не только их бесстрашием, готовностью к самопожертвованию, но также той двухлетней титанической деятельностью, которая потребовалась для того, чтобы привести в исполнение смертный приговор, вынесенный ими Александру II.

«Народная воля» была могучей революционной организацией. Ее Исполнительный комитет являл собой блестящую плеяду людей, вышколенных многолетней подпольной работой. Ее систему конспирации, созданную Александром Михайловым, надо признать почти безупречной. Народовольцы были силой, перед которой трепетал царь, а огромный полицейско-жандармский аппарат Российской империи часто оказывался несостоятельным.

Группа Ульянова была малочисленна — в ней насчитывалось не более десятка молодых людей, решивших взяться за оружие революционного террора. Все они были студентами, жившими на легальном положении и, следовательно, находившимися, как и вся студенческая масса столицы, под пристальным взором полиции. В отличие от народовольцев, они не располагали сколько-нибудь значительными денежными и техническими средствами. У них не было ни малейшего опыта конспиративной работы. Подбор участников группы, когда ею руководил студент Петр Шевырев, осуществлялся с легкомысленностью непростительной...

Короче говоря, если с такой, практической, точки зрения подходить к этому заговору, трудно найти в нем что-либо похожее на блестящую заговорщическую деятельность «Народной воли». Но возможен и иной подход к этой трагической истории. Именно он приводит нас к правильной оценке.

Ошибки и промахи не могут быть поставлены в вину людям, которые самозабвенно отдались революционной борьбе, не имея практического опыта. Это не вина их, а беда. И она нисколько не умаляет красоты их подвига, потому что подвиг, совершаемый во имя истинно высокой цели, всегда, независимо от практического результата, прекрасен. Он вызывает у нас восхищение выдающимися нравственными достоинствами людей, готовых жертвовать жизнью даже в самых неблагоприятных условиях революционной борьбы. Вот почему мы видим Александра Ульянова, как и его товарищей, в одном ряду с героями «Народной воли».

Наиболее полно и ярко проявились нравственные основы его личности, вся его богатая натура, когда он вступил на путь террористической борьбы. Это и был тот миг, та самая исключительная ситуация, в которой человек, быть может, один-единственный раз в жизни, сам того не сознавая, распахивается настежь и дает нам возможность разглядеть его внутренний мир во всем богатстве.

Такова причина, заставившая автора избрать принцип изложения, позволяющий события и перипетии жизни Ульянова поставить в логическую связь с его участием в заговоре, а последний сделать сюжетным стержнем всего очерка.

Объясним также смысл нашей фразы о психологическом портрете.

В одном из биографических очерков об Ульянове, написанном с хорошим знанием материала, сказано так о его решении стать на путь террора: «Понять побудительные причины его решения можно только исходя из особенностей революционного движения эпохи». Если эта фраза точно передает мысль автора, согласиться с ней никак нельзя. Само собой разумеется, поступки человека в той или иной мере обусловлены причиной внешней, объективной — условиями, в которые он поставлен независимо от его воли. Но есть и другая, не менее важная причина, внутренняя — он сам как личность, его характер, его жизненный опыт, его интеллект. Взаимодействие этих двух причин и приводит к тому, что в определенной ситуации человек принимает то или иное решение.

Несомненно, особенности революционного движения второй половины восьмидесятых годов прошлого столетия толкали Александра Ульянова на террор. Он и сам сказал об этом на суде, правда, имея в виду не одного себя, а всех, кого правительство вынуждало обращаться к террору, и прибавил, что

среди русского народа всегда найдется десяток людей, готовых умереть за свою несчастную родину. Но когда возникает вопрос, почему Иванов и Петров вошли в этот десяток, а Сидоров оказался вне его, ответить можно лишь путем исследования и сопоставления их как индивидуальностей. Именно эти соображения побудили автора написать нечто вроде эскиза к психологическому портрету Александра Ульянова.

НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА

Санкт-Петербург, столица Российской империи.

Среда, 31 декабря 1886 года. 9 часов вечера.

Александр Ульянов, студент Императорского университета, поджидал Ореста Говорухина — одного из ближайших товарищей, с которым вместе учился на четвертом курсе физико-математического факультета. Им предстояло идти на новогоднюю вечеринку.

Две комнаты, которые совместно снимали Ульянов и его земляк Чеботарев, были чем-то вроде отдельной квартиры. Они имели обособленный вход с улицы, от хозяйской половины дома, смотревшей окнами во двор, отделялись капитальной стеной. Жизнь здесь была тихая и к тому же вполне по карману.

Чеботарев недавно ушел, он встречал Новый год в своей компании. Александр коротал время в дальней от входа комнате, небольшой и узкой, как пенал. Вдоль одной ее стены стояли, только-только втиснув-

шись, две железные кровати. Противоположную стену до потолка закрывали книжные полки плотницкой работы. На них размещалась библиотека Симбирского землячества.

Собрания землячества, иные более или менее людные сборища происходили в первой комнате. Ее, большую и светлую, в два окна, хозяин дома не без торжественности именовал «зало».

Александр был погружен в глубокое раздумье. Под Новый год люди вообще склонны к мысленному обозрению своей жизни — той, что уже в прошлом, а также и той, какую гадательно можно ожидать в будущем. У студента Ульянова для такого раздумья были особые причины.

Говорухин не заставил долго себя ждать. И еще у порога, сняв шапку, разматывая с шеи толстый, домашней вязки шарф, спросил:

— Ну, как сестра, уговорил?

— Нет, отказалась категорически.

— И будет коротать в одиночестве?

Александр развел руками.

— При ее-то меланхолическом характере? В новогодний вечер? Да ты что, Ильич!

Среди студентов, объединенных Донским и Кубанским землячествами (Говорухин был казак из станицы Усть-Медведицкой), существовал обычай именовать друг друга преимущественно по отчеству. Он принялся решительно наматывать шарф обратно на шею, приговаривая:

— Одевайся, одевайся немедленно! И пошли! Уж вдвоем-то мы ее убедим.

Александр улыбнулся.

— Ладно, попытаемся. Но все-таки сначала разденься. Время у нас есть, а мне надо кое-что сказать тебе, Макарыч...

31 декабря 1886 года запечатлелось в памяти Анны Ильиничны Ульяновой как один из черных дней жизни. Расставалась она с уходящим годом, оказавшись в одиночестве, и поминала его самыми недобрыми словами: с первых дней принес он несчастье — смерть отца. И Анна предалась горестным воспоминаниям. Вселял тревогу и день завтрашний.

За последний месяц она не впервые старалась понять: что случилось, почему в их тесной дружбе с братом обнаружилась какая-то трещина, которая заметно ширилась, грозя превратиться в отчуждение? Александр занимал в ее жизни слишком большое место, чтобы это не вызывало мучительной тревоги.

В «Воспоминаниях об Александре Ильиче Ульянове», впервые опубликованных в сорокалетнюю годовщину его трагической гибели, Анна Ильинична, обладавшая незаурядным литературным дарованием, не только проникновенно и задушевно рассказала о его короткой жизни. Она открыто, не боясь быть заподозренной в сентиментальности, рассказала читателю о своей нежной любви к Александру, о глубоком уважении и преданности. Родившись почти

на два года раньше его,— а девочки, как известно, взрослеют обычно быстрее мальчишек — Анна еще в ранней юности как бы отдала свое старшинство брату. И произошло это так естественно, что ни она, ни он этого не заметили. Пожалуй, лучше всего охарактеризовать ее отношение к брату одним словом — преклонение. Анну пленяли его ум, редкостная целеустремленность («...еще мальчиком нашел себя»,— писала она, имея в виду раннее увлечение естественными науками), его железная воля (он умел «брать стойкие решения надолго и проводить их с неуклонностью»), его редкостная работоспособность («...не могу работать больше шестнадцати часов в сутки»,— сокрушенно признавался Александр сестре). Ее пленяли в брате моральная чистота, отзывчивое сердце, всегдашняя готовность к самопожертвованию ради близких, товарищей... В книге о брате нет, кажется, страницы, где бы так или иначе не проявилось это преклонение. Вот, например:

«Осталась у меня в памяти одна прогулка с Сашей этим летом в лунный вечер по саду. Все домашние разошлись уже на покой, а я, наскучив бродить одиноко по нашему садику, подошла к оконцам Сашиной кухни* и стала с жаром упрашивать его погулять со мною. Он уступил. Мы прош-

* В этой летней кухоньке Александр, будучи еще учеником гимназии, устроил себе лабораторию для занятий естественными науками.— *В. С.*

лись по улицам, а затем вернулись в сад. Мое настроение под влиянием какой-то полуребяческой влюбленности, которую я переживала тогда, было в этот вечер особенно восторженным, и я неожиданно для себя вдруг крепко обняла Сашу. Обычно никаких нежностей между нами не было, но тут я не могла удержаться. Саша ответил на мой порыв крепким братским объятием, таким ласковым, таким чутким. И так, обнявшись, прошли мы несколько шагов по саду. И вот в этот момент все запело во мне особенно громко. Этот день я вспоминала в последующие годы как праздник: такое чистое и поэтическое счастье доставило мне это братское объятие».

Арестованная в один день с братом, Анна Ильинична из тюрьмы, куда ее заключили, писала в другую тюрьму, где находился Александр:

«Лучше тебя, благороднее тебя нет человека на свете. Это не я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя...»

Анна не ошибалась: все, знавшие Александра Ульянова и оставившие воспоминания о нем, писали, само собой разумеется, не столь лирично, но по существу не расходились с ней в оценках его душевных качеств.

Легко представить теперь, каким тяжелым камнем легло на сердце Анны то, что было со страхом воспринято ею как начавшееся отчуждение. К тому же она терялась в догадках. То говорила себе, что «трещи-

на», «отчуждение» — все это плод ее мнительности. То, пытаясь опереться на кое-какие факты последнего времени, приходила к выводам противоположным: что-то, чему она не могла найти убедительного объяснения, несомненно, вторглось в их отношения. Но и тут она винила себя, а не Сашу. Должно быть, он обнаружил в ней какие-то черты, которые не любил в людях. Но какие?.. А ведь как счастливо развивалась, крепла их дружба в Петербурге!

Осенью 1883 года Александр был зачислен на естественное отделение физико-математического факультета. Осуществилась наконец его заветная мечта — стать студентом Петербургского университета, где обучали естественным наукам такие профессора, как Менделеев, Бутлеров, Вагнер... Анну приняли на Высшие женские курсы (Бестужевские), по окончании которых она намеревалась заняться педагогической деятельностью.

Вышло так, что поселились они далеко друг от друга. Александр нашел пристанище на Петербургской стороне, на Съезжинской улице, в небольшом деревянном доме. Ему очень повезло. В комнату ход вел прямо из передней, соседняя комната, гостиная, обычно пустовала. Было тихо, удобно для занятий. И хозяйка была внимательная, добросердечная.

Анна сняла комнату на Сергиевской, прельстившись близостью к дому Боткина, где тогда размещались Бестужевские кур-

сы, и попала в отвратительные условия; в этом районе господствовал иной тип хозяек, беззастенчиво «промышлявших на счет студенческих желудков».

Чтобы встречаться друг с другом, надо было пешим порядком отмахать не одну версту, пользоваться конкой не позволял скромный бюджет. И все же встречались они тогда очень часто. Два раза в неделю, по средам и воскресеньям обязательно и на целый вечер, да еще в иные дни на лету — по какому-нибудь неотложному делу: вернуть прочитанную книгу, что-то сообщить, обменяться письмами, полученными из дому.

Если взять этот первый петербургский год в целом, Анне следовало по справедливости помянуть его добрым словом. Одна новизна самостоятельной жизни, да еще в столице, настраивала на мажорный лад, не давала «жить долго прошлым», а манеру эту Анна считала крупным недостатком своей натуры. Новые люди — преимущественно студенты, курсистки-бестужевки,— среди которых нетрудно было встретить душу, открытую для дружбы, и вообще вся энергичная, немного суматошная питерская студенческая жизнь властно вторгались в ее внутренний мир, не оставляя места вялости и унынию. Сверх всего была радость от ощущения особенной, никогда ранее не испытанной полноты душевной близости с братом. Эта полнота также явилась следствием жизни в Питере,— оторванность от семьи

требовала компенсации. И позже — на втором, третьем году — их отношения ничем не омрачились.

Первое облачко набежало нынешней осенью, вскоре после того, как они, проведя лето в Симбирске, вернулись в Питер. Александр, неожиданно для Анны, решил, сняв две комнаты, поселиться с Чеботаревым, товарищем гимназических лет, только что окончившим Петербургский университет.

— Почему не со мной! — вырвалась у Анны острая обида.

Брат стал объяснять: у него теперь что ни день, бывают университетские товарищи — по делам студенческого научно-литературного общества, Симбирского землячества. Кстати, и библиотеку землячества решено поместить в одной из комнат. Ей, Анне, лучше всего поселиться в его прошлогодней комнате, у хорошей, испытанной хозяйки, жить он будет неподалеку, квартира присмотрена на Александровском проспекте, и видеться они смогут часто.

Объяснения были ни к чему, Анна их толком даже не слышала, мысленно твердила одно: «Не хочет Саша со мной селиться». Не совладав с собой, крикнула: «Ты больше не любишь, не уважаешь меня!» Александр ответил: «Ты очень хорошо знаешь, что я тебя люблю и уважаю». Сказал, как всегда, спокойно, не повышая голоса, но в его словах Анна услышала глубокое огорчение, такую боль, что сделалось невыразимо стыдно.

И уже не требовались никакие другие слова, чтобы она поняла свою неправоту. С детских лет ей было знакомо редкостное прямодушие брата: он либо говорил, что думал, либо просто молчал, если по каким-то причинам не считал возможным высказать правду. И все-таки облачко не растаяло. А потом набежали и другие.

Живут они теперь — рукой подать, это верно, а видятся гораздо реже, чем раньше, когда приходилось мотаться между Съезжинской и Сергиевской. Редко-редко выпадает удача застать его дома одного. С недавних пор особенно зачастили к нему однокурсники Говорухин и Шевырев. Неужели Саша не понимает, что ей хочется побыть с ним вдвоем? Но желания выпроводить их что-то не видно. Наоборот, удерживает, словно ее общество стало неинтересным или тягостным. Да хотя бы и нынешний день!

1884 год встречали вдвоем, у нее на Сергиевской. Конечно, гораздо более соблазнительной, признавалась Анна Ильинична впоследствии, была перспектива провести рождественские праздники в семейном кругу. Но брат решительно отказался ехать в Симбирск. «Для него это было баловством: надо было пользоваться всем, что давал Питер, достаточно было одних летних каникул. Да и деньги лишние тратить он был совсем не склонен».

И вот Анна после двух зимних поездок в Симбирск снова осталась в Петербурге. Быть может, удержала надежда, что хоть

новогодний-то вечер Саша отдаст ей. Он поступил иначе — обещал товарищам прийти на вечеринку. Так и получилось, что в канун 1887 года она одна-одинешенька коротала, как могла, этот черный день. Правда, вечером они все же свиделись, но мимолетная встреча только усугубила ее подавленность и тревогу.

«Брат,— писала Анна Ильинична,— отправляясь на новогоднюю вечеринку, зашел ко мне, но не один, а с Говорухиным. Они звали и меня — помнится, больше Говорухин, чем брат,— но я, вообще большая домоседка, была в своем настроении траура не расположена идти на веселье, да к тому же и публика там должна была, кажется, быть мало знакомая. Помня, что брат первый год нашей питерской жизни приходил ко мне встречать вместе Новый год (две следующие зимы я проводила праздники в Симбирске), зная, что он вообще не сторонник большого веселья, глядя, очевидно, чересчур сквозь призму своего настроения, я просила его остаться у меня. Но он стремился настойчиво, как ему не было свойственно в таких случаях, когда он видел причиняемое отказом серьезное огорчение, уйти на вечеринку. Даже когда Говорухин, вероятно разленившийся идти, к моему большому удивлению, вдруг тоже поддержал меня, предложив брату остаться, он не уступил. Я опять-таки, избалованная его чуткостью и внимательностью с детства, приписала это изменившемуся отношению ко мне.

Конечно, оставшись одна, я горько проревела, чувствуя, как никогда, и потерю отца, и одиночество, и горе матери».

Само собой разумеется, Александр понимал, в каком состоянии осталась сестра. Но поступить иначе не мог. Причина была не в том, что он дал слово прийти на новогоднюю вечеринку, хотя еще с детских лет приучил себя, даже в мелочах, держаться данного им слова. У него имелась возможность сразу же отказаться от предложения товарищей. Он и ухватился за вечеринку ради того, чтобы избегнуть встречи Нового года вдвоем с Анной. При их душевной близости, годами выработанном уменье понимать друг друга с полуслова и даже нередко читать в мыслях теперь такие встречи не приносили, да и не могли приносить былой радости. Анна тяготилась непривычной и непонятной замкнутостью брата, он — необходимостью таить от нее крутой поворот в собственной судьбе.

Но главное — эти встречи стали опасны для Анны. Он понимал, что Анна ощутила в его жизни, которая всегда была перед ней как на ладони, с недавних пор нечто, ревностно оберегаемое от ее взгляда. Наконец, он сознавал, что сестра мучительно терялась в догадках, чаще всего винила себя и в себе искала причину отчуждения. При иных обстоятельствах было бы достаточно двух-трех слов, чтобы рассеять ее заблуждение и успокоить. Но мог ли он выдать свою и одновременно не ему одному при-

надлежащую тайну? А если б и выдал?.. Вряд ли смогла выстоять ее нервная натура, испытав этот неожиданный удар.

Было бы счастьем для них обоих, если б Анна и в этом году уехала на рождественские каникулы в Симбирск. И матери легче было бы вместе с ней пройти через скорбную годовщину. Но Анна ни за что не хотела уезжать. И Александр, движимый любовью к ней, невольно причиняя боль, обиду, вынужден был отгораживаться от сестры. Эту нравственную жертву, далеко не единственную и не самую тяжелую, потребовала его новая судьба. Любой исход задуманного покушения на царя — удачный, неудачный — почти неминуемо приведет его на эшафот. Это он знал, к этому был готов. И нельзя было допустить, чтобы Анна, как и другие близкие и непричастные к делу люди, пострадала.

Кстати, пришла пора сказать Чеботареву, что надо разъезжаться. И это — нелегкое дело. Трех месяцев не прошло, как они поселились вместе. Жизнь наладилась быстро и хорошо, оба были довольны ею вполне. И вдруг — разъезжаться! Нет ничего удивительного, если и Чеботарев воспримет его решение с обидой. Хуже того — сочтет легкомысленным и безответственным человеком.

Но и ему, также не подозревающему о заговоре, Александр не мог открыть истинных мотивов своего поступка. Одна надежда: Чеботарев — умница, поймет, что это не кап-

риз. Поймет, не станет допытываться и простит.

(Примерно так и вышло. «В первой половине января, — писал Чеботарев много лет спустя,— Александр Ильич сказал мне, что некоторые из посещающих его товарищей могут быть серьезно скомпрометированы и что если я не хочу рисковать собой, то нам лучше всего разъехаться».)

В мемуарах современников, в иных литературных источниках нет ни слова о том, где Ульянов встречал 1887 год. Лишь Анна Ильинична неопределенно обмолвилась: «...публика там должна была, кажется, быть мало знакомая». Задумаемся все же над этой фразой. Прежде всего, она исключает из возможных мест новогодней встречи студенческие квартиры, где Александр бывал в последнее время особенно часто (например, удобную квартиру Сергея Никонова, одного из участников террористического заговора). Здесь собирались в узком товарищеском кругу, сюда, даже под Новый год, малознакомые люди не могли быть званы. Фраза Анны Ильиничны наводит на мысль, что вечеринка, скорее всего, устраивалась в доме, где брат, возможно, никогда не бывал, по крайней мере своим человеком не являлся. В ином случае и Анне он был бы близок, а это никак не вяжется с характером, тоном ее рассказа.

Возможно,— для этого есть кое-какие основания — брат и Говорухин звали Анну к Хренковым. Их квартиру студенческая мо-

лодежь посещала охотно, встречали ее здесь радушно. Анна у Хренковых не бывала, они в круг ее знакомых не входили. Ничто личное не связывало с ними и Александра, но два-три раза он заходил к ним по каким-то делам. Об этом мы знаем по воспоминаниям Валентины Иововны Дмитриевой, писательницы народнического толка, дружившей с молодой хозяйкой дома.

Именно здесь, в квартире Хренковых, она однажды, в конце 1886 года, встретила Александра Ульянова, и его «оригинальный образ» запечатлелся в памяти настолько ярко, что впоследствии послужил ей прототипом одного из героев романа «Червонный хутор». Характеризуя чету Хренковых, свивших свое гнездо в том же 1886 году, Дмитриева, в частности, писала, что у них «можно было встретить самую разношерстную публику, начиная от фельетониста бульварной газеты и кончая якутом, секретарем известного тибетского шарлатана Бадмаева». Поэтому всяк, кто появлялся у них, неизбежно оказывался среди людей малознакомых и незнакомых вовсе.

Пусть все сказанное о Хренковых и не придает нашему предположению силу достоверности. Гораздо важнее иное. Опираясь на воспоминания Дмитриевой и не погрешив против логики, мы, таким образом, получаем возможность увидеть Александра Ульянова в обстановке, существенной для его характеристики. Вообще, надо сказать, зоркий глаз писательницы, умение ярко живописать

виденное делают несколько страничек, отведенных встрече с Ульяновым, интересным и ценным биографическим документом.

Дмитриева оставила нам не только запоминающееся описание внешности, манеры поведения Александра, но и не без успеха попыталась заглянуть в его внутренний мир. Наконец, не менее важно и то, что, изображая царившую в доме Хренковых атмосферу, она тем самым в какой-то мере погружала читателя в общественную атмосферу тех лет, когда Ульянов учился в Петербургском университете.

Вот зарисовки четы Хренковых:

«Оба они были сибиряки, но совершенно разные по характеру люди. Хренков — последователь и поклонник Владимира Соловьева (философа-идеалиста, богослова, поэта-символиста.— *В. С.*), непротивленец с полумистическим уклоном; его жена — Софья Германовна, урожденная Гопфенгауз —прирожденная бунтарка, с горячим боевым темпераментом, остроумная, решительная и скорая в своих действиях. Однажды, не задумываясь, в морозную ночь она сняла с себя теплую кофточку и отдала ее нищей с ребенком».

Хренков — по характеру человек мягкий и добрый — отвергал террор, с осуждением относился к деятельности «Народной воли», будучи убежден, что она «только и привела к взаимному ожесточению и кровопролитию», а затем к черной реакции Александра III. «Прощение выше мести»,— часто лю-

бил он повторять слова Ариэля из «Бури» Шекспира.

Хренкова, по словам Дмитриевой, «насквозь была пропитана революционным духом». Добавим от себя, тут нет ни малейшего преувеличения. Вся ее последующая жизнь и трагическая смерть, ускользнувшая, по-видимому, из поля зрения писательницы, свидетельствуют об этом. Разговоры и ожесточенные споры на политические темы в этом доме велись неумолчно. И какие только мнения не высказывались!

Однако, как ни пестры были политические настроения и взгляды сходившихся здесь людей, ожесточенность их споров чаще всего отражала не крайность позиций, а оттенки все той же политической разочарованности, знаменовала крушение веры в бомбу, долженствовавшую, по мысли многих активных революционеров, не только лишить жизни царя, но и вызвать вооруженное восстание, инсуррекцию, как часто, на иностранный манер, выражались деятели «Народной воли», казнившие Александра II. Поэтому тем, кто и после воцарения Александра III продолжал считать революционный террор необходимым, результативным средством борьбы с царизмом, ни к чему было ввязываться в «ожесточенные» споры под гостеприимной кровлей Хренковых. Дмитриева отчетливо это показала в рассказе о самой встрече с Александром Ульяновым.

Надеемся, читатель не посетует на нас, если мы приведем этот отрывок без ку-

пюр,— книга ее, вышедшая полвека назад, стала, можно сказать, библиографической редкостью.

«И вот, однажды зайдя к ним,— писала Дмитриева,— я увидела незнакомого юношу-студента. Встретить там незнакомое лицо было явлением обычным: много их перебывало у Хренковых, но этот юноша почему-то особенно привлек мое внимание. Смугловато-бледный, с большим лбом, нахмуренными бровями и крепко сжатым ртом, он сидел в уголке, молчал и исподлобья поглядывал на присутствующих. По-видимому, он внимательно прислушивался к разговору, но во всей его фигуре, в выражении лица, в этих напряженно сдвинутых бровях было что-то такое самоуглубленное, сосредоточенное, чуждое всему окружающему, что казалось, будто мысль его не здесь, что им владеет какая-то своя, особая, страшно важная и захватывающая идея. Я тоже не принадлежу к числу разговорчивых, особенно в большом обществе, поэтому, забившись в другой угол, занялась наблюдением и исключительно сосредоточила свое внимание на незнакомом студенте. А он ничего не замечал, думал свою думу, вряд ли меня и видел.

В это время вокруг Хренкова разгорелся обычный спор о том, что делать? Не помню, кто-то заговорил о том, что террор после неудачи акта 1 марта (т. е. несбывшихся надежд на коренные общественные преобразования в результате цареубийства.— *В. С.*) доказал свою полную несостоятельность и

что теперь нужно перейти к другим методам борьбы с реакцией. С подпольщиной нужно покончить навсегда, и все силы необходимо направить на культурную работу. Идти в земство, учить, лечить, бороться с невежеством народным не бомбами, а книгой... Поднялся шум; слышались отдельные слова: «Революция... Эволюция... Статистика страшнее динамита... Агрономия — вот главная задача...» А Хренков неторопливо и проникновенно пытался усмирить эту бурю мнений своими полумистическими изречениями:

— Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших... Ибо зло питается злом...

И вдруг молчаливый студент точно проснулся. На смуглых щеках его проступил легкий румянец, изломанные хмурые брови приподнялись, в глазах и на губах заиграла насмешливая улыбка. В первый раз он взглянул на меня и сказал как бы про себя, ни к кому особенно не обращаясь:

— Чудаки! Корочкой хлебца хотят человечество осчастливить... Я не успела ничего ответить, да и не знала, со мной ли он говорит. К нему подошел Хренков.

— Вы что-то сказали, коллега?

— Ничего. Удивляюсь, из-за чего спорят люди. Агрономия, статистика, земство, непротивление злу — вот каша-то. А народ как издыхал в грязи, в темноте, так и издыхает.

— А, по-вашему, что же нужно? — с оттенком снисходительности — у него была такая манера — сказал Хренков.

Не знаю, тон ли этот не понравился студенту или он вообще не хотел говорить в незнакомом обществе, но он весь как-то сжался, снова нахмурился и встал.

— Это, знаете ли, длинная история... а мне пора уходить. В другой раз когда-нибудь...— Он мешковато сунул руку Хренкову и мне, отошел к Софье Германовне и, обменявшись с ней несколькими словами, исчез.

Но его оригинальный образ запечатлелся в моей памяти, и через несколько дней я спросила Софью Германовну, кто такой этот сумрачный студент с трагическими глазами.

— А это Ульянов. Я его сама мало знаю, он по делу приходил».

Разумеется, атмосферу дома Хренковых, со всей его толчеей разнокалиберных людей, с пестротой мнений, хаотичностью споров, нельзя принимать за микроскопическую копию общественной жизни России того времени. (У нас еще явится возможность пристальнее вглядеться в эту эпоху.) Но в зарисовках Дмитриевой, пусть неполно, кое в чем однобоко, отразились две ее существенные черты. Во-первых, апатия, охватившая значительную часть интеллигенции, еще вчера готовую аплодировать народовольцам,— апатия, вызванная политической безрезультатностью цареубийства и крайней реакционностью нового царствования. Во-вторых, идейный разброд в самóм революционном стане, мучительные колебания в выборе дальнейшего пути. По выражению В. И. Ленина, «революционеры исчерпали себя 1-ым

марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации...».

Молодой революционной поросли, к которой принадлежал Александр Ульянов, приходилось самостоятельно определять свою позицию. В конце 1886 года он пришел к твердому решению стать на путь террористической борьбы, а с января следующего года считал себя формально принадлежащим к террористической группе, куда кроме него входили на первых же порах студенты Шевырев, Лукашевич, Никонов, Говорухин.

31 декабря на стол директора департамента полиции П. Н. Дурново был положен рапорт начальника Петербургского охранного отделения, к которому прилагался «добытый негласным путем печатный устав студенческого научно-литературного общества». В рапорте перечислялись и с чисто жандармской дотошностью «освещались» все лица, стоявшие во главе общества. Об Ульянове, секретаре научно-литературного общества, в рапорте сообщалось подробно:

«...Александр Ильич *Ульянов,* 20 лет... проживает по Александровскому проспекту в д. № 21, кв. 2, вместе с кандидатом университета, причисленным ныне к департаменту земледелия и сельской промышленности министерства государственных имуществ Иваном Николаевым *Чеботаревым,* 25 лет. *Ульянов* имеет мать, двух сестер и двух братьев, проживающих в г. Симбирске, и сестру Анну, 23 лет, состоящую слушательницею Высших женских курсов.

Из знакомых *Ульянова* можно указать на студентов Военно-медицинской академии Василия Михайлова *Бурлакова,* известного департаменту полиции, университета Сергея Семенова *Мельникова* и Сергея Павлова *Феократова,* братьев Семена и Арсения Илларионовых *Хлебниковых,* акушерку Ревекку Абрамовну *Шмидову* и дочь священника Раису Ивановну *Калайтан.* Политическая благонадежность знакомых *Ульянова,* равно и его самого, весьма сомнительна, так как все они принадлежат к кружку «кубанцев и донцов»».

Рапорт кончался следующими строками: «Из поименованных выше лиц (имелись в виду лица, возглавлявшие научно-литературное общество.— *В. С.*) один *Ульянов* и отчасти *Сыромятников* являются личностями в политическом отношении неблагонадежными.

Хотя на основании § 15 устава все заседания общества, его совета и научного отдела и происходят в зданиях университета, но тем не менее предварительные совещания членов общества могут происходить и на частных квартирах, особенно, если принять во внимание, что такая личность, как *Ульянов,* играет в том обществе выдающуюся роль секретаря».

Это пристальное внимание петербургской охранки к Ульянову, агентурное наблюдение за его квартирой, за людьми, посещавшими ее, возникло еще в октябре. И рапорт являлся отчетом об исполнении поручения, кото-

рое департамент полиции возложил на Петербургское охранное отделение своим «отношением за № 2655/604», датированным 31 октября. Но во второй половине ноября, после студенческой демонстрации у ворот Волкова кладбища, слежка резко усилилась.

Начальник охранки подполковник Секеринский доносил утром 17 ноября департаменту: «Получено мною сведение, что сего числа, в час дня, предполагается общестуденческая панихида на могиле Добролюбова... По сведениям, соберется до 1000 человек, причем собирающиеся предполагают после панихиды произвести демонстрацию».

«Сего числа,— сообщал в письме к Дурново петербургский градоначальник генерал-лейтенант Грессер,— учащаяся молодежь обоего пола высших учебных заведений столицы намерена была произвести, под предлогом чествования 25-летней годовщины смерти литератора Добролюбова, демонстрацию на Волковом кладбище, подробности о которой мной доложены вашему превосходительству в особой записке». Грессер предлагал, войдя «в сношение с подлежащими министерствами, в ведении коих состоят высшие учебные заведения», принять меры «к воспрепятствованию молодежи этой фигурировать в подобных демонстрациях».

18 декабря Дурново обратился к Грессеру: «Ввиду полученных сведений о сношениях... Александра Ильина Ульянова с лицами, высланными из Петербурга за демонстрацию

в день годовщины смерти Добролюбова, департамент полиции имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать в распоряжении о собирании подробных сведений о деятельности и круге знакомых студента Ульянова и о последующем не оставлять вашими уведомлениями».

И Грессер, конечно, «не оставлял». В частности, его подробная записка об Ульянове, круге знакомых, о кружке «кубанцев и донцов», о студенческой столовой этого кружка, как месте конспиративных встреч, помеченная 2 января 1887 года, кончалась следующим абзацем:

«Ввиду того, что большинство знакомых Ульянова суть лица, скомпрометированные в политическом отношении, он сам также должен быть признан за такое лицо.

Кроме того, Ульянов с сестрою своею и сожителем по квартире Иваном Николаевичем Чеботаревым является организатором малороссийского кружка, сведения о коем собираются по записке департамента полиции от 22 декабря 1886 года за № 138/762».

Насколько энергично шныряли в студенческой среде шпики охранки, можно судить из донесения подполковника Секеринского. Буквально через несколько дней после решения группы Ульянова выпустить прокламации о репрессиях, связанных с «добролюбовской демонстрацией», Секеринский сообщил в департамент: «Дознано мной агентурным путем, что... 18 ноября по этому

поводу происходила сходка студентов, на которой было решено издать прокламации двух родов: «к студенчеству» и «к русскому обществу»; из них первого рода прокламации предположено распространять среди знакомых и товарищей, а вторые — опускать в ящики, устроенные во входных дверях частных квартир». Здесь все, до мельчайших деталей, соответствовало решениям, принятым на квартире у Александра.

Вспоминая это время, Чеботарев писал: «... мы видели, что слежка за нашей квартирой усилилась. Шмыгали агенты тайной и явной полиции, дворник постоянно изыскивал повод войти в квартиру. И тем не менее это мало беспокоило Александра Ильича».

Нетрудно понять, почему не выражал беспокойства сам Чеботарев. Он не был связан с заговорщической деятельностью Ульянова, даже не знал о ней. Впоследствии, на суде, где он присутствовал в качестве свидетеля, да и то вызванного не следственными властями, а подсудимым, Ульяновым, к нему никаких претензий не предъявлялось. Но Александр Ильич, он-то почему мало беспокоился? Может быть, потому, что до конца декабря в его действиях еще не было фактически ничего такого, за что полагалось отвечать по всей строгости неумолимых законов Российской империи?

Как бы то ни было, в канун Нового года жандармско-полицейская грозовая туча сильно сгустилась и низко нависла над его головой.

МАЛЫЕ ПРИЧИНЫ — БОЛЬШИЕ СЛЕДСТВИЯ

Сергей Никонов, вспоминая спустя сорок лет студенческие годы, писал:

«Идея цареубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовался гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень многие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота?»

Никонов не преувеличивал — идея цареубийства носилась в воздухе. Михаил Степанович Ольминский, один из старейших большевиков, в разговоре с Анной Ильиничной, который состоялся уже после Октябрьской революции, высказал ту же мысль, характеризуя настроения революционной молодежи в середине восьмидесятых годов. Он и сам тогда народоволец,— кстати сказать, поступивший в Петербургский университет одновременно с Ульяновым — подумывал о террористическом акте. И тем не менее слухи о неудавшемся покушении на Александра III мгновенно распространившиеся после аре-

ста Ульянова и всех остальных участников террористической группы, ошеломили петербургское студенчество. Особенно слух, будто в числе арестованных — Ульянов. Кое-кто просто счел его за вздор. Иные склонны были объяснить недоразумением, на худой конец — роковой случайностью.

Другой реакции и быть не могло среди широкого круга студентов, знавших Ульянова по совместному слушанию лекций, по работе в студенческом научно-литературном обществе. В этой среде он был известен и уважаем как выдающийся своими способностями и знаниями студент-естественник, прямо-таки влюбленный в избранную область науки и поглощенный ею целиком.

А его успехи в занятиях по зоологии, год назад увенчанные университетской золотой медалью за конкурсную работу о кольчатых червях? А слух, что его решено оставить при университете для подготовки к профессорскому званию? Вот в этом слухе никто не сомневался.

Наконец, его видели до самого последнего дня на лекциях, которые Ульянов посещал, как всегда, аккуратнейшим образом, видели работающим — с обычной для него, а в общем-то редкой усидчивостью — в зоологическом кабинете, где он продолжал потрошить кольчатых червей. Какой уж тут террористический заговор?!

Но и в более узком кругу, среди товарищей, хорошо знавших Александра по работе

в Симбирском студенческом землячестве, в центральном кружке объединенного союза землячеств, в экономическом кружке «саморазвития» — среди тех, кто вместе с ним не только изучал последнее слово философии, политической экономии, истории, но и обсуждал жгучие вопросы политической жизни России,— и в этом более узком кругу весть об его участии в террористическом заговоре также вызвала что-то вроде столбняка... Впрочем, некоторые из товарищей Александра Ильича, принадлежавшие именно к этому кругу, много позже, в своих воспоминаниях, отмечали печать смерти, которую они якобы разглядели на его лице незадолго до неудачного покушения.

«Чтобы не замешать нас, Ульянов заранее вышел из кружка,— писал в 1908 году В. Бартенев, один из участников экономического кружка.— Как-то случайно он зашел на одно заседание за две недели до 1 марта. Быть может, зашел взглянуть на нас в последний раз и мысленно проститься с нами. Вид его тогда поразил многих. Он весь вечер просидел молча, задумчиво глядя своими большими темными глазами. Я очень живо помню его лицо: матовой белизны, немного широкоскулое, всегда спокойное и серьезное, шапка черных, слегка вьющихся волос на голове. Но в этот вечер его лицо было точно освещено каким-то внутренним светом и казалось преображенным. И не я один обратил на это внимание: многие из нас, после того как его арестовали, вспоми-

нали о выражении его лица,— лица человека, обрекшего себя на смерть».

Однако это предвосхищение задним числом — неумышленное, конечно,— явно расходится с воспоминаниями тех, кто был очень близок к Александру, близок повседневно. Достаточно назвать Чеботарева. Последний даже после того, как Ульянов предложил разъехаться, ни по внешнему виду, ни по манере поведения своего друга не предугадывал надвигающейся трагедии. Кстати, не сказалось ли это «предвосхищение» и на портрете, нарисованном Дмитриевой,— «сумрачный студент с трагическими глазами» и прочее? Лишь тогда, когда Александра заставали одного и врасплох, могла явиться такая мысль. Например, у будущего шлиссельбуржца, Михаила Новорусского, который как-то зашел к Ульянову, не постучался по рассеянности в дверь его комнаты и стал «минутным свидетелем роковой борьбы в душе Александра Ильича».

Новорусский писал: «Лицо его, обыкновенно спокойное и приветливое, было необычайно тревожно и грустно. Он медленно поднял голову, услыхавши мои шаги, и было видно, что я оторвал его как бы от тягостного сна, от которого он с трудом очнулся... Я чутьем понял, что он только что решал для себя тяжелые вопросы — может быть, вопрос жизни и смерти,— и невольный вопрос: «что с ним?» — у меня замер на устах».

В том-то и дело, что Ульянов оставался до последней минуты непроницаемым для всех,

кто не был посвящен в террористический замысел. Тут сказывалась его редкостная выдержка, железная самодисциплина.

Даже Анна проглядела превращение студента, всеми помыслами отдававшегося науке, в революционера-террориста. А ведь она была все время рядом с братом. И в тот момент, когда эта метаморфоза совершалась, настойчиво задумывалась над переменой в их отношениях, над отчуждением, которое приносило ей столько горестных переживаний. По ее собственному признанию, не раз она оказывалась у самого порога тайны, но так и не сумела переступить его. Даже после ареста брата,— подумать только! — будучи и сама арестована в тот же день, она все еще блуждала в потемках.

«Я была отвезена в охранное отделение на Гороховую улицу, а через сутки — в Дом предварительного заключения. По дороге пристав, ехавший со мной на извозчике, сообщил мне, сокрушаясь об участи молодежи, что вот-де студент Генералов бросил бомбу в государя, и за это теперь берут его знакомых, много невинных. Меня охватил ужас: Генералов! Он был знаком с Сашей, я встретила его там раз. Как отразится это на Саше?!

Я подумала сначала лишь об опасности знакомства. Только постепенно, в одиночестве, напряженно разматывая в своем мозгу клубок минувших событий, встреч, разговоров, всего неясного для меня в поведении Саши, я стала понимать с ужасом, леденив-

шим мне душу, что тут дело не в одном знакомстве, а в активном участии. Первый же допрос утвердил меня в этом мнении, доказав многое».

И только тогда открылась ей истинная причина нежелания Саши встречать Новый год с ней вдвоем:

«Уже в тюрьме, продумывая подробно все поведение брата за последнее время, я поняла, что при состоявшемся решении принять участие в террористическом акте — что скрывалось от меня — ему, такому правдивому, что он мог только уклониться от ответа, а не солгать, так глубоко любящему мать и семью, что он должен был очень болезненно переживать подготовляемое ей горе, было просто невмоготу остаться в этот вечер со мною, с мыслями о семье».

Читая эти откровенные признания, испытываешь невольное изумление. С детских лет Анна в дружбе, в тесном общении с братом. Его внутренний мир всегда был распахнут перед нею. Трехлетняя жизнь в Петербурге, вдали от семьи, сделала их духовную близость еще более глубокой. Но вот в три последних месяца — декабрь, январь, февраль (в марте они были арестованы) —что-то непонятное, тревожное глухой стеной встает между ними. Анна силится разрушить ее, ищет хотя бы щелочку, чтобы разглядеть, что же там, за стеной? Не раз — чувствует она — обстоятельства ставят ее вплотную к цели. Еще одно усилие — мучительная догадка разъяснится. Но нет, не

удается! Какое-то наваждение, какая-то внезапная потеря умственного зрения делают бесплодными все ее попытки. Откуда она, слепота?

Примем во внимание обычную для Александра спокойную манеру поведения, его систематическую, как всегда, многочасовую работу в зоологическом кабинете, короче — все, что, казалось бы, говорило о неизменности устоявшегося за три года в Питере образа жизни и круга умственных интересов. Учтем и то, что Анна Ильинична тогда, еще не «отведав тюремной похлебки» и вообще не успев сделать первого шага на своем революционном пути, была, по ее выражению, «совершенно неискушенным в конспиративных делах дичком». Но эти и иные, им подобные, обстоятельства не приводят нас к удовлетворительному объяснению умственной слепоты, поразившей Анну в тот момент, когда брат круто менял жизненную дорогу. Они могли лишь усиливать действия какой-то глубокой причины, мешавшей сорвать «завесу над происходящим». И такая причина была.

Мы ее обнаружим, если вспомним откровения пристава, сопровождавшего Анну из охранки в Дом предварительного заключения. Даже они не вызывают у Анны мысли о том, что брат арестован как участник покушения на царя,— мысли естественной, явно напрашивающейся в такой ситуации и сразу же, как яркая вспышка, освещающей все непонятное в его поведении. В том-то и

дело, что для Анны она была противоестественной, говоря попросту, не могла прийти в голову. Все, что знала Анна о Саше,— а она знала решительно все: и круг умственных интересов, и суть его взглядов на окружающую жизнь, и счастливо найденную еще в ранней юности жизненную цель, и нравственные принципы, установленные им для себя, и свойства недюжинного характера,— все, все неодолимо препятствовало появлению у нее догадки о причастности Александра к террору.

Правда, под влиянием некоторых непонятных обстоятельств у Анны возникали тревожные предположения — не скрывает ли Саша от нее какую-то конспиративную деятельность, за которую может серьезно поплатиться. Был, например, случай — брат предупредил, что для него на ее адрес из Вильно может прийти телеграмма. Получив ее, Анна справедливо рассудила, что текст телеграммы условный, тайный. Что ж, она и сама однажды прикоснулась к делу конспиративного свойства — помогала в распространении противоправительственной листовки, написанной братом после разгона студенческой демонстрации у Волкова кладбища. Вполне допустимо, что Саша снова вовлечен в подобную деятельность. Но террор?..

Если бы некий внутренний голос вдруг шепнул это слово, Анна, не задумываясь, ответила бы: «Нет, нет!» Другого ответа и быть не могло, потому что — повторим еще

раз — ему воспротивилось бы все, что она знала о брате, что, по ее справедливому суждению, составляло существо, натуру Александра. (Кстати, разве не подтверждается это ее собственной фразой: «Да и очень уж далека была я, как и другие, непосвященные товарищи Саши, от мысли о том, что готовится террористический акт»?)

Революционный террор целиком поглощает человека, становится всеохватывающим делом его жизни, отрешая от всего с ним не связанного. Каким бы дичком в конспиративных делах ни являлась Анна в то время, это она понимала. Разве не такова многолетняя подвижническая участь террористов-народовольцев, казнивших Александра II? У брата было иное дело всей его жизни. Дело не только рано найденное, но и найденное счастливо, безошибочно. Он словно родился для него, и оно никогда ничем не заслонялось. С годами страстная любовь к науке лишь разгоралась, укрепляя в правильности избранной жизненной цели. И вот все это, как карточный домик, рушится в один миг? Немыслимо!.. И как это противоречит всему характеру Саши!

Действительно, в натуре Александра — с ее высокой интеллектуальностью, строгой логикой мышления, несгибаемой волей — чувства, эмоциональные порывы, как бы они сильны ни были, никогда не брали верха над рассудком. Именно отсюда шло его внешнее спокойствие, ровное при любых обстоятельствах обращение с окружающими,

терпеливость и хладнокровие в самом яростном студенческом споре. Этим же объяснялась обдуманность каждого шага в жизни, тем более — шага решительного.

Нельзя и думать, возразила бы Анна внутреннему голосу, чтобы такой перелом в жизни Саши, если бы и нашлись к тому веские причины, назрел и совершился столь скоропалительно, в какие-нибудь полтора-два месяца. Наконец, прибегла бы Анна к самому сильному для нее аргументу: от этого шага удержала бы брата любовь к матери — любовь внешне сдержанная, как и все проявления его чувств, но в глубине души трепетная, нежная и заботливая. Мог ли он нанести ей, еще не оправившейся от недавней тяжелой утраты, новый удар, который, скорее всего, оказался бы для нее гибельным? К тому же смерть отца накладывала на Сашу обязательства по отношению ко всей семье. Ему выпала доля стать, и как можно скорей, главной опорой отчего дома.

Возможно, читатель испытывает недоумение. Зачем понадобилось автору рассказывать, да еще так подробно, об удивительной недогадливости Анны, а потом не менее подробно объяснять и оправдывать, придумывая воображаемый диалог с «неким внутренним голосом»? Очерк-то все-таки об Александре?

Прежде всего — о придуманности. Внимательно и вдумчиво читая книгу Анны Ильиничны об Александре, все ее аргументы, на-

ми перечисленные, все до единого, можно там найти. Они лишь выражены иными словами и разбросаны по разным страницам. Приведем лишь один пример.

Анна, получив от одного из сослуживцев покойного отца письмо, в котором говорилось о матери, дала прочитать его брату. Дальнейшее берем из ее книги:

«Он писал, что за самое последнее время она стала спокойнее и бодрее, между тем как дни, связанные с годовщиной смерти отца, переживались ею очень тяжело.

Подперев голову обеими руками, Саша долго-долго смотрел на эти строки, смотрел так, точно вся душа его сосредоточилась на них... Мне стало больно за его переживания, за этот скорбный, точно ушедший в себя взгляд, но в то же время я сказала себе: «Хорошо, что я показала ему это письмо: он так болеет душой за маму, он будет осторожней для нее». Лишнее доказательство того, что никто не может выйти из своей натуры, а соответственно ей переживает окружающее: я не могла себе представить, чтобы глубокая и серьезная дума о горячо любимой матери, о ее горе могла сочетаться с такой решимостью, с такой деятельностью, которая должна была нанести страшный удар матери... и чтобы можно было сохранить спокойствие при этом».

Теперь — о подробности, с какой автор пишет о недогадливости Анны, о споре с внутренним голосом.

Александр Ильич рассказывал на суде об «умственном процессе», который привел его к террору. Однако личные мотивы, то есть причины, толкнувшие именно его, Александра Ильича Ульянова, на дорогу террористической борьбы, в этой речи были им сознательно обойдены. Равным образом не писал об этом с его слов ни один из авторов воспоминаний. Между тем мы более всего озабочены задачей — рассказать читателю о том психологическом процессе, в результате которого всепоглощавшая в жизни Ульянова страсть к науке сменилась все поглотившей, в том числе и самое жизнь, террористической деятельностью. Если же автор при этом решительно сторонился всякой вольной фантазии, где ему было искать почву достоверности? Лучше, чем воспоминания Анны Ильиничны, не найти. Ее мысли о решении Александра пожертвовать собой ради цареубийства, сведенные воедино и изложенные в форме разговора с воображаемым голосом, и послужат нам надежной основой для того, чтобы попытаться восстановить в былой подлинности интересующий нас психологический процесс.

Анна Ильинична, как и другие авторы воспоминаний об Ульянове, справедливо считала добролюбовскую демонстрацию с ее последствиями непосредственной причиной, толкнувшей его на террор.

Нет необходимости подробно описывать все перипетии этой яркой демонстрации свободолюбивых настроений, проявившейся в

студенческой массе числом более тысячи человек, представлявших почти все высшие учебные заведения столицы. Для нашей цели важно отметить общее настроение, боевой дух демонстрантов, особенно настроение Александра Ульянова.

Инициатором демонстрации, по свидетельству Никонова, был экономический кружок. В начале года студентам удалось организовать демонстрацию, приуроченную к двадцатипятилетию «освобождения» крестьян. Полиция ее проморгала. Ободренные таким успехом, студенческие организации живо откликнулись на призыв экономического кружка провести демонстрацию в день двадцатипятилетия со дня смерти Добролюбова. Подготовка велась открыто, но в объявлениях о сборе на Волковом кладбище говорилось лишь о панихиде и возложении венков на могилу знаменитого критика.

17 ноября, около полудня, когда демонстранты заполнили пустырь перед Волковым кладбищем, они обнаружили, что его ворота на замке, а решетка ограды защищена большим отрядом полиции во главе с полицмейстером, который объявил о запрещении панихиды. Ответом были негодующие выкрики, начались даже отдельные стычки между полицейскими и студентами.

Атмосфера быстро накалялась. Полицмейстер, опасаясь более серьезных эксцессов, пошел на уступку — дал возможность небольшой группе студентов пройти за ворота

и возложить венки на могилу. Как-никак, а это была победа, хоть и маленькая, и демонстранты, немного помитинговав, решили не расходиться, а направиться в центр столицы, к Казанскому собору, где десять лет назад состоялась знаменитая демонстрация студентов и рабочих, организованная «Землей и волей». Дело принимало такой оборот, что могло кончиться кровопролитием, хотя сами демонстранты шли спокойно, организованно.

Дальнейшее передадим словами студента Петербургского университета М. Брагинского, в воспоминаниях которого Александр занимает центральное место:

«Ульянов... явился одним из деятельных организаторов этой демонстрации и одним из самых энергичных ее участников. Мне никогда не приходилось наблюдать Ульянова в таком состоянии... В продолжение всей демонстрации — а она длилась с утра до поздних сумерек — Ульянов был в сильно приподнятом настроении... Его настроение достигло крайней ступени возбуждения, когда огромная толпа демонстрантов, с революционными песнями подвигавшихся к Казанской площади... была остановлена цепью конных казаков, преградившей ей путь на Лиговке, не доходя до Николаевского вокзала, и когда вскоре затем перед демонстрантами появился градоначальник генерал Грессер. Я находился в этот момент вблизи Ульянова, шедшего все время под руку с своею сестрой, Анной Ильиничной, и поло-

жительно заражавшего всех своим боевым настроением, бурно проявившимся, как только он увидел приближавшегося к нам градоначальника. Точно электрическим током всего пронизало его при виде ненавистной фигуры Грессера... С побледневшим лицом, с загоревшимися гневом глазами, Ульянов с криком «вперед!», увлекая за собой других и пролагая себе путь сквозь гущу демонстрантов, устремился навстречу к подходившему к нам градоначальнику, точно собираясь уничтожить его тут же на месте. В ту же минуту и вся огромная толпа демонстрантов, охваченная необыкновенным волнением, пришла в движение и с криками «вон!», «долой!» ринулась на градоначальника и чуть не сбила его с ног. Растерявшийся генерал, крича: «Господа, это насилие!», поспешил отступить и, сев в ожидавшие его сани, быстро умчался назад».

Анна Ильинична также отмечала крайнее волнение, охватившее брата, когда демонстранты были окружены казаками с шашками наголо и стал вопрос — что же теперь делать?

«— Идти вперед! — сказал брат, и его нахмуренное лицо приняло выражение какой-то железной решимости, жутью прошедшей по моим жилам. Насилие страшно возмутило его».

Демонстрантов выпускали из оцепления маленькими группами, однако часть из них была задержана и отведена в полицейский участок, находившийся в двух шагах.

Вечером на квартире Ульянова собрались близкие товарищи, делились впечатлениями, тревожились о тех, кто был арестован, ждали дальнейших арестов. Настроение было озабоченное, подавленное. Но когда явились несколько человек из числа уведенных в кутузку и сообщили, что выпустили в конце концов всех, народ повеселел. Принялись вспоминать, и больше в тоне веселой шутки, отдельные эпизоды этого бурного дня. «Так,— писала Анна Ильинична,— рассказывали при общем большом одобрении об ответе, данном Грессеру одним остроумным парнем из арестованных, а именно: когда при нем, сидящем в участке, туда вошел Грессер и заявил, ни к кому не обращаясь: «Ух, умаялся!», то этот студент заметил подчеркнуто почтительным тоном: «Да, ваше превосходительство, должность незавидная»».

Наутро радостное чувство победы сменилось нешуточной тревогой, вызванной репрессиями — обысками, арестами, высылкой некоторых участников демонстрации. Около сорока человек высылалось из Петербурга в различные места под надзор полиции. И тогда, на совещании, происходившем также в квартире Ульянова и Чеботарева, было решено напечатать на гектографе листовку с протестом против действий властей. Текст ее взялся писать Александр Ильич.

Озаглавленная «17 ноября в Петербурге», она в спокойных тонах, подробно изла-

гала все события этого дня, указывала на мирные цели студентов, желавших «только воспользоваться своим правом — служить панихиду по тем лицам, которых мы признавали своими учителями, которые завещали нам бороться с неправдой и злом русской жизни». В листовке говорилось об издевательских действиях Грессера, заставившего демонстрантов несколько часов стоять под дождем, в лужах, о последующих репрессиях и делался вывод, что не из опасения беспорядков были брошены полицейские и казаки — мирный характер манифестации не вызвал сомнений,— правительство, очевидно, было «против самого факта чествования Добролюбова».

«У нас на памяти немало других таких же фактов,— говорилось далее,— где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлениям общества». Один из последних абзацев листовки гласил: «Итак, всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных, литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и гордость нашей родины, всего этого не существует для русского правительства. Но тем-то важны и дороги такие факты, как 17-ое ноября, что они показывают всю оторванность правительст-

ва от общества и указывают ту почву, на которой должны сойтись все слои общества, а не только его революционные элементы».

Заканчивалась листовка энергичным заявлением: «Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности».

Обвинитель на процессе Ульянова и его товарищей, оберпрокурор Правительствующего сената Неклюдов, пытался в своей речи истолковать последние строки листовки как неприкрытую угрозу террором. С юридической точки зрения это являлось грубой подтасовкой, подлогом, потому что в них ясно говорилось о духовной солидарности, о действиях, подобных добролюбовской демонстрации. Но, быть может,— об этом следует задуматься — для самого автора листовки ее заключительная фраза и стала тем «толчком», который «подвинул его на террор».

Подкрепляя свое мнение о влиянии добролюбовской демонстрации на судьбу брата, Анна Ильинична писала:

«В наше время может показаться диким по несоответствию: разогнанная студенческая демонстрация толкает на самоубийство, на террор. Нам трудно перенестись за 40 лет назад, в психологию того «проклятого богом», по выражению Якубовича (поэта-народовольца, сосланного на каторгу,—

В. С.), поколения восьмидесятых годов. Но прежде всего неверно, чтобы это была студенческая демонстрация. Не студенческие, а общеполитические мотивы вызывали ее... А что касается несоответствия причины со следствием, то надо только не забывать известной аллегории о последней капле, которая переполняет всякую, далеко не мелкую только чашу».

Мысль Анны Ильиничны ясна. Но, быть может, для глубокого проникновения в сущность переворота, произведенного добролюбовской демонстрацией в сознании Александра, более пригодна иная аллегория.

В годы ранней юности Александра наука, закладывая основы учения об энергии, руководилась принципом, что причина всегда равна следствию. При этом она, естественно, должна была объяснить процессы, в которых «малые причины порождали большие следствия». (Именно этими словами они тогда и характеризовались.) В одной из популярных книг того времени в качестве иллюстрации приводилась снежная лавина — процесс, производящий катастрофические опустошения, но возникающий от малых, ничтожно малых причин, например от взмаха крыльев птицы, низко пролетающей над гигантским напластованием снега уже созревшей лавины. В наш просвещенный, атомный век кто не знает о лавинообразных процессах, о так называемых цепных реакциях, когда «малая причина», например деление одного атомного ядра, порождает

катастрофически большие следствия? Именно таков — по скоротечности, по всеобъемлемости результатов — и был «умственный процесс», упомянутый на суде самим Ульяновым.

Быть может, «взмахом крыльев» и явилась для него последняя фраза листовки об «организованной силе», которую общество противопоставит «грубой силе» правительства. Написав эту фразу, он, при его характере и складе ума, несомненно задался вопросом: «А что под этим следует понимать?» И мысли его покатились в сторону террора.

Толчок добролюбовской демонстрации, несомненно, привел в движение напластованные за три года жизни в Петербурге впечатления. Ведь это был город, где все и на каждом шагу кричало о «разнузданной,— по выражению Ленина,— невероятно бессмысленной и зверской реакции» царствования Александра III.

Не случайно в листовке было упомянуто о похоронах Тургенева, «на которых в качестве представителей правительства присутствовали казаки с нагайками и городовые». После революции, когда открылся доступ к секретным архивам полиции и охранки, было обнаружено специальное «Дело» о похоронах великого русского писателя. Из него мы узнали о том, какому надругательству подвергался прах Тургенева на пути из Парижа в Петербург, как лишили Льва Толстого возможности произнести на траурном собрании в Москве речь в память

Ивана Сергеевича, да и многое другое. Но и то, что было известно тогда, вызывало омерзение и гнев в самых широких кругах интеллигенции.

Не мог Александр не вспомнить своего посещения Петропавловской крепости, где среди многих благороднейших и смелых русских людей, становившихся в разное время узниками казематов-могил, отсидел свои четыре года кумир его ранней юности — Писарев. Тогда и не помышлялось, конечно, что и сам он, Александр, ненадолго станет узником этого застенка, где все было столь хорошо приспособлено к медленному, бескровному, но неизбежному умерщвлению заключенных. Он вспомнил и о смерти Писарева, уже на свободе утонувшего во время купания на Рижском взморье. Полицейский, приставленный к нему «для наружного наблюдения», видевший, как тонул Дмитрий Иванович, пальцем не шевельнул, никого не позвал, чтобы спасти его.

Анна Ильинична писала в своей книге, с каким чувством вышел брат из калитки Петропавловской крепости.

«Я мало помню в своей жизни такие острые, мучительно гнетущие настроения... Не потому ли запечатлелось так ясно до сих пор выражение лица Саши, такое сосредоточенно-мрачное, как я его никогда дотоле не видала, так ясно, что я могла бы и теперь передать его, если бы умела рисовать: эти плотно сжатые губы, эти сдвинутые брови, это непередаваемое выражение стра-

дания в глубоких глазах. Точно сразу состарилось его лицо».

Не мог не вспомнить Александр и другого любимого писателя — Салтыкова-Щедрина. Александру удалось повидать его, даже дважды, и пожать ему руку. Он ходил со студенческой депутацией на квартиру к Михаилу Евграфовичу, чтобы вручить адрес и поздравить с днем ангела — единственный формально допустимый и все же небезопасный повод выразить любовь и горячую признательность опальному писателю. Затравленный, лишенный своего детища (его журнал «Отечественные записки» был закрыт в 1884 году), больной, на пороге смерти — таким видел и таким вспомнил его Александр, когда лавина мыслей неслась с возрастающей скоростью. Обязательно вспомнил, потому что великий сатирик был из тех, кто отдал свой литературный талант, всего себя без остатка на организацию силы, способной противопоставить себя грубой силе правительства... Многое скопилось в столичных напластованиях памяти, которые, придя в движение, неотвратимо влекли Александра, пережившего добролюбовскую демонстрацию, к террору.

Помните, читатель, слова Никонова: «...очень многие задавали себе вопрос: «Неужели не найдется людей, которые взялись бы устранить грубого деспота?»» Для Александра, как и для самого Никонова, такой вопрос был немыслим: «Почему надо уповать на других? Если надо устранить, берись за дело сам!»

Не длинен крестный путь революционера-террориста на Голгофу: арест — скоропалительное следствие — постыдно-торопливая комедия суда — виселица. Новый «помазанник» спешит! Боясь за собственную жизнь, торопится устрашить, привести в оцепенение тех — еще неизвестно даже кого,— кто, быть может, уже изготовил бомбу и на него, только что воссевшего на престол убиенного родителя. Бывают, впрочем, исключения. Вот уже более двух лет, с октября 1884 года, томятся под следствием, ожидая, несомненно, смертного приговора, Герман Лопатин и еще двадцать членов «Народной воли».

На то существуют особые причины. Явилась возможность, так полагает охранка, не только выловить всех действующих агентов этой злокозненной, еще вчера могущественной террористической организации, но и вытравить ее молодые побеги — словом, расправиться с нею окончательно. Ради этого Александр III, живший с первого дня царствования глухим затворником в Гатчинском дворце, готов не торопиться с расправой, тем более что непосредственные виновники смерти его венценосного отца — все эти Желябовы, Перовские и прочие «злодеи, изверги рода человеческого»— были казнены незамедлительно и устрашение, стало быть, произведено.

Александр Ульянов не сомневался: так же быстро подведут к виселице его, всю их маленькую группу.

В «Записках шлиссельбуржца» Михаил Новорусский писал об Александре:

«...Ему, самоотверженному защитнику террора, пришлось пережить немало тяжких минут раздумья и колебаний. Идти самому на этот путь — не значит идти к победе. Победой, если она будет, воспользуются другие. Участника же, который становится на этот крестный путь, скорее всего ожидает смерть. А идти на смерть сознательно в 21 год, на заре жизни, когда человек полон самых возвышенных стремлений и рвется к делу, борьбе, жизни, а не к смерти,— на это нужна необычайная решимость. На это нужна сильная воля, которая должна преодолеть не только все соблазны, открывающиеся воображению в личной жизни, но и самую жажду жизни, вложенную природой в молодой организм».

Справедливо сказано! Очень трудно побороть естественную, особенно сильную у молодого, жажду жизни. Но мужественному человеку, обдуманно и убежденно избирающему террор в качестве революционного оружия, мысль о смерти не страшна. Он приемлет ее спокойно, как неизбежность, им самим вызванную. Александр Ульянов, в частности, тому яркий пример. Он прошагал от ареста, через следствие и суд, к эшафоту без трепета, ни разу не оступившись, удивляя даже видавших виды судейских бесстрашием, буквально самозабвенной, во вред ему идущей заботой о товарищах, оказавшихся с ним на скамье подсудимых.

Иначе обстоит дело с возвышенными стремлениями, с соблазнами в личной жизни. Смерть — одно и то же для всех, кто на нее идет осознанно, а жизнь, жертвуемая во имя террора, у каждого своя, и мера возвышенных стремлений, надежд, возможностей тоже отнюдь не одинаковая.

Вспомним удивительную судьбу Николая Васильевича Клеточникова — одного из героев «Народной воли», подготовивших казнь Александра II. Мы не знаем точно, какая именно личная трагедия испепелила естественное чувство жизнелюбия у этого прекрасного человека. По всей вероятности, сильная и безнадежно-безответная любовь. Так или иначе, но он приходит к твердому убеждению, что жизнь его стала бессмысленной, никому, в том числе и ему самому, не нужной. И он решает прибегнуть к самоубийству. Затем ему, сочувствовавшему борьбе за народное счастье, неожиданно является мысль: разве нельзя лишить себя жизни с пользой для других? И Клеточников из Симферополя, где он занимал второстепенную должность в окружном суде, выезжает в столицу с намерением убить царя. А здесь — неожиданность прямо-таки ошеломляющая! Николая Васильевича убеждают взять на себя задачу неизмеримо более сложную — проникнуть на службу в царскую охранку, чтобы охранять революционное подполье от шпионов и предателей, арестов и провалов, от всех и всяческих полицейско-жандармских напастей. Целые два

года были отданы этому подвигу, этой опасной, выматывающей нервы работе. Потом — случайное разоблачение его связей с народовольцами, заключение в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, суд, смертный приговор, замененный медленной, мучительной смертью в Алексеевском равелине той же Петропавловки. Через год и три месяца установленный для него режим питания — здешние тюремщики на это великие мастера — сделал свое дело, развившаяся цинга вкупе с туберкулезом кишечника и легких умертвили Клеточникова.

Не правда ли, какая героическая судьба? А толчком к ней послужила полная опустошенность жизни.

Совсем иным, как бы противоположным был путь к террору у Александра Ульянова. Вот уж у кого жизнь сложилась на редкость счастливо! И бесконечно дорогое, успешно подвигавшееся дело — наука, и все более увлекавшая работа в студенческих организациях, и разгоравшийся в связи с нею интерес к общественным проблемам, и круг друзей-единомышленников, относившихся к нему с горячей симпатией и уважением, и дружба с Анной, и нежная любовь к матери, приверженность ко всем младшим в семье... Лишь один уголок души пустовал еще — тот, где должна хозяйничать мужская любовь, но уже появились приметы, что и в нем жизнь вот-вот затеплится. «В то время,— вспоминал Чеботарев,— особенно я заметил это в декабре 1885 года — Алек-

сандр Ильич стал проявлять интерес к женскому обществу». А как это последнее относилось к Ульянову, мы можем узнать из слов С. Хлебникова — одного из руководителей кружка кубанцев и донцов:

«Вместе с кристаллически чистой душой и способностью отдаваться безраздельно раз усвоенному убеждению, в Александре Ильиче была в высшей степени привлекательна другая черта, это — деликатное, бережное отношение его к человеческой личности. Эта мягкость в личных отношениях, чуткость и деликатность привлекали к нему все сердца и особенно чувствительную к указанной форме человеческого характера слабую половину человеческого рода. Я думаю, многие из окружавших Ильича молодых девушек, типа тургеневских... русских женщин, так поэтически изображенных Тургеневым в его стихотворении в прозе «Порог», не задумываясь, пошли бы за Ильичем на смерть, если бы это понадобилось».

Несомненно, жизнь Александра Ильича до краев полнилась самыми возвышенными стремлениями, недюжинными делами, благородными мечтаниями о личном счастье. А добролюбовская демонстрация, толкнувшая на путь революционного террора, понуждала принести все в жертву новой жизненной цели. Пусть такое требование и не противоречило моральному кодексу, установленному им для себя, а совпадало — результат не менялся. В этом нравственном подвиге вся натура Александра. Этот под-

виг являет нам жизнь его трагически прекрасной. Но раньше, чем совершить его, надо было обратиться к надежному советчику, к вышколенному аналитическому уму, оберегавшему во всех случаях жизни от поспешных, сомнительных, ложных шагов. И прежде всего, надо полагать, Александр почувствовал необходимость проверить еще раз, как уживается идея революционного террора со сложившимися у него к этому времени теоретическими представлениями о пути развития русского революционного движения.

ИСКАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

«В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века,— писал Ленин в книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»,— передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».

Эти слова Владимира Ильича с полным основанием следует отнести и к его старшему брату. Александр, решив отдать все силы активной борьбе, именно с жадностью, с присущей ему энергией принялся вырабатывать для себя систему теоретических

взглядов, позволяющую правильно ставить и решать основные задачи революционной практики. И произошло это в самый драматический момент полувековых исканий, когда передовая мысль России оказалась на распутье. Впереди, резко разветвляясь, лежали две дороги: наезженная колея уже клонившейся к упадку народнической идеологии и только что проложенная плехановской группой «Освобождение труда», многим русским революционерам еще неясная, тропа к научному социализму.

Для биографов Александра Ульянова его теоретические искания являются той единственной областью, где, к счастью, можно опереться на документы, автором коих был он сам. Их три: во-первых, листовка «17 ноября в Петербурге», во-вторых, «Программа террористической фракции «Народной воли»» — так именовала себя в этом документе группа Александра Ульянова — и, наконец, стенограмма его речи на суде.

«Я могу,— говорил Александр перед судьями,— отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для

меня в строго научные и именно социалистические формы».

Разъясняя слова брата о смутном чувстве ранней молодости, Анна Ильинична в своей книге рассказала маленькую историю.

Однажды, когда семья Ульяновых жила, как обычно в летнюю пору, в деревне Кокушкино, девятилетний Саша и одиннадцатилетняя Анна отправились покататься на лодке. На реке их застал дождь. Боясь, что слегка простуженная сестра расхворается всерьез, Саша, гребя изо всех сил, погнал лодку к ближайшей деревне Татарской. Здесь они забежали в избу хорошо знакомого Ульяновым охотника и рыболова Карпея. «Это был талантливый самородок с речью, блещущей остроумием и меткими сравнениями,—писала Анна Ильинична.— Но особенно запомнила я нашу беседу с ним в этот раз... Он рассказывал нам, как по царскому приказу гнали через Казанскую губернию в Сибирь «жиденят». Этот рассказ очевидца был ярок и произвел на нас сильное впечатление».

Насколько глубоко он запал в детские души, можно понять из того, что через десяток лет, уже в студенческие годы, читая «Былое и думы» Герцена, Александр и Анна живо вспомнили охотника Карпея. Тогдашняя детская печаль и жалость сменились негодованием. Иного чувства эта история, описанная блестящим, эмоциональным герценовским пером, и вызвать не могла. Да и Герцен, встретив по дороге в соб-

ственную ссылку этих восьми-девятилетних еврейских ребятишек, оторванных от родителей, бредущих из последних сил неизвестно куда и зачем и умирающих по дороге от этапа к этапу,— и сам Герцен глотал слезы бессильной ярости: «Какие чудовищные преступления безвестно схоронены в архивах злодейского, безнравственного царствования Николая!»

Воспитанные в уважении к «инородцам», населявшим Симбирскую губернию, к татарам, чувашам, мордовцам, для которых Илья Николаевич строил школы, готовил преподавателей из их же среды, воспитанные в духе, чуждом великодержавному шовинизму, Александр и Анна горячо сочувствовали ярости Герцена. И Анна Ильинична была несомненно права, заключив свой рассказ утверждением, что «для Саши это было одним из фактов, пробуждавших в нем еще в детские годы то смутное недовольство существующим политическим строем, о котором он говорил в своей речи на суде».

Но вот мы переносимся в студенческие годы Александра и с недоумением читаем в воспоминаниях близких товарищей о его аполитичности. Чеботарев, например, писал, имея в виду первый год питерской жизни: «Я принимал тогда деятельное участие в поволжском землячестве и на первых же порах заговорил с Александром Ильичем о поступлении его в члены этого землячества, равно как и с приехавшей вместе с ним сестрой его, Анной Ильиничной... Но сочувст-

вия не встретил. Мне показалось, что оба они слишком для этого «благовоспитаны» и несколько предубеждены против всяких студенческих организаций; приехали в Питер только «учиться» и заниматься «чистой наукой», а не «политикой»».

О том же примерно писал и Говорухин. Он утверждал, что даже на третьем курсе Александр «не участвовал еще ни в революционных организациях, ни в кружках самообразования». О студентах, которые работали в этих кружках, он, по словам Говорухина, говорил: «Болтают много, а учатся мало».

Наше недоумение естественно: мы уже имели случай узнать редкостную правдивость Александра. Ложь, хотя бы и по пустяковому поводу, никогда не слетала с его уст. Нельзя допустить, чтобы в речи на суде — а он понимал, что она последняя в его жизни,— были сказаны неправдивые слова. И ради чего понадобилось бы относить начало своего революционного мышления, хоть и «смутного», к временам ранней молодости? В характере Александра рядом с правдивостью жила редкостная скромность, о которой не забывали упомянуть буквально все, кто писал о нем воспоминания.

Но нельзя заподозрить Чеботарева и Говорухина в том, что их первые впечатления об Ульянове-студенте неискренни. Более того, надо признать, в них отразилась известная доля правды. Поступив в университет, Ульянов действительно был некоторое

время целиком поглощен наукой. И его, однолюба по характеру, нетрудно понять.

Александр добросовестно отдал девять лет жизни тягостной ему гимназической учебе и получил свою первую золотую медаль. (Преподавание в тогдашней Симбирской гимназии не заслуживало уважения и не могло вызвать любви.) Это был его долг перед отцом, и, кроме того, лишь гимназический «аттестат зрелости» мог открыть перед ним двери университета. Естественно, когда они открылись, Александр ринулся в науку как одержимый. Наконец-то осуществилась давняя, заветная мечта!

Однако даже в этот начальный период студенческой жизни он не был «ученым сухарем». Вспомним его впечатления, унесенные из Петропавловской крепости, возмущение тем, во что превратила царская власть похороны Тургенева, реакцию на закрытие «Отечественных записок», посещение больного Щедрина студенческой делегацией, которая была избрана на факультете как раз по инициативе Александра... Нет, смутное недовольство общественным строем не только не испарилось в Питере, а, наоборот, накапливалось все больше и больше. Хотя политика все еще продолжала быть — что верно, то верно — сторонней для него областью практической деятельности, политические вопросы все чаще и острее тревожили его ум. И тут тоже Александр оставался верен себе: как и в науке, он не удовлетворялся готовыми политическими рецеп-

тами, а искал ответов сам, пытаясь разобраться в проблемах общественной жизни досконально.

Продолжим цитату из воспоминаний Говорухина, в которой было сказано, что Ульянов сторонился революционных организаций. Вот как объяснил это ему Александр:

«В революционные организации не вступаю потому, что я не решил еще многих вопросов, касающихся лично меня, а что еще важнее, вопросов социальных. Да и вряд ли скоро вступлю».— «Почему?» — «Потому — больно уж сложны социальные явления. Ведь, если естественные науки, можно сказать, только теперь вступают в ту фазу своего развития, когда явления рассматриваются не только с качественной, но и с количественной стороны,— только теперь становятся, стало быть, настоящими науками, то что же представляют собой социальные науки? Ясно, что не скоро можно решить социальные вопросы. Я предполагаю, конечно, научное решение — иное не имеет никакого смысла,— а решить их необходимо общественному деятелю. Смешно, более того, безнравственно профану медицины лечить болезни; еще более и смешно и безнравственно лечить социальные болезни, не понимая причины их».

Можно допустить, что слова эти, воспроизведенные Говорухиным от лица Ульянова, и не абсолютно точны, но их суть сомнений не вызывает. Для подтверждения сошлемся хотя бы на строки из воспоминаний Брагинского:

«Идея служения народу была центральной идеей нравственного и политического миросозерцания Ульянова, поистине его символом веры. Но тогда он как бы не считал себя еще вправе браться за ответственную революционную работу... В его глазах политическая деятельность, революционная борьба были делом слишком серьезным и ответственным, чтобы можно было безоглядно броситься в нее без предварительной научной подготовки и нравственной закалки».

Еще и не предполагая быть лекарем социальных болезней, все еще оставаясь верным рыцарем Науки, Александр стал втягиваться в изучение политических, исторических, экономических проблем. Вместе с Анной он слушал лекции В. Семевского по истории русского крестьянства. А когда чтение этого курса было прекращено и в университете, и в Бестужевке (народник В. Семевский для начальства оказался слишком левым), оба они «в числе избранных», как писала Анна Ильинична, дослушивали лекции на квартире историка. По инициативе Александра в Симбирском землячестве, где он уже активно работал, возник кружок по изучению экономического положения крестьянства.

«Крестьянский вопрос» — как в историческом плане, так и злободневном — все чаще и острей будоражит мысль Александра. Он внимательно следит за журнальными статьями на эту тему, понимая, что она становится главной, решающей в острой поле-

мике первых русских марксистов в лице Плеханова и группы «Освобождение труда» с народниками.

Наряду с поисками правильной революционной теории Александр все глубже входил в общественную студенческую жизнь. Он стал одним из самых деятельных и авторитетных членов Симбирского землячества. От этого землячества он был делегирован в центральный кружок (руководящий орган) объединенного Союза студенческих землячеств.

В конце 1885 года Ульянов вступил в экономический кружок, интересы которого отнюдь не сводились к изучению общественных наук и обсуждению злободневных политических проблем. Фактически это был и негласный политический центр, распространявший свое влияние на деятельность Союза землячеств и других студенческих организаций того же научно-литературного общества, где Александр был, как уже знает читатель, избран секретарем и во многом определял характер его деятельности.

Именно Ульянов включил в повестку одного из заседаний общества доклад студента Марка Елизарова, также участника экономического кружка, об экономическом положении крестьян Самарской губернии. По форме это был даже не доклад, а как бы личные впечатления Елизарова о жизни родной деревни, откуда только что он вернулся после каникул. Но слушатели из этих впечатлений могли без труда сделать вывод

о тяжелом положении крестьян, их глухом протесте против порядков, установленных реакционной политикой правительства Александра III и доводящих деревню до крайней степени нищеты и бесправия.

Так, если говорить кратко, шел процесс «предварительной научной подготовки и нравственной закалки» будущего революционного деятеля, хотя сам Ульянов до поры до времени не отдавал себе в этом отчета. Каков же был его конечный результат?

Авторы воспоминаний, а позднее биографы и исследователи политических взглядов Александра Ильича Ульянова, каждый по-своему выделяя то одну, то другую черту его мировоззрения, различно трактуя отдельные места программы, написанной им от имени группы, а также его речи на суде, в одном сошлись единодушно. Они признали, что сложившиеся к этому моменту у Александра Ульянова политические взгляды были непоследовательными, внутренне противоречивыми. Действительно, в программе и в речи на суде нетрудно обнаружить существенные элементы нового, марксистского понимания законов общественного развития и обусловленных ими путей и практических задач революционной борьбы. Но тут же, по соседству с ними, так же легко обнаружить и элементы старых, народнических воззрений.

Александр Ильич и сам признавал это соседство. Более того, он сознательно стремился к такому сочетанию разнородных по-

литических взглядов. В письменных показаниях от 20—21 марта Ульянов, восстанавливая по памяти программу, объяснил следствию, что в его задачу входило «составить опыт общепартийной программы, которая могла бы объединить революционные партии».

«Прежняя программа «Народной воли»,— писал Александр Ильич далее в этих показаниях,— по недостатку научной обосновки и некоторой неопределенности своих положений не вполне удовлетворяет революционные кружки, и мы думали, что, исправляя эти ее недостатки и сделав в ней некоторые изменения, можно устранить все существенные причины разногласий и послужить делу объединения революционных сил...»

Говоря о партиях, которым следовало бы в интересах революционного дела объединиться на единой политической платформе, Ульянов имел в виду кроме «Народной воли» группу «Освобождение труда» и возникшие в Петербурге кружки молодежи социал-демократического направления.

Современному читателю такое намерение может показаться наивным. Но для его правильной оценки необходимо учитывать обстановку — кризисное состояние, в каком тогда находилась революционная теоретическая мысль.

Вспомним ленинскую характеристику руководителей социал-демократического движения в период 1894—1898 годов:

«Многие из них начинали революционно

мыслить, как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали».

Если бы не смерть на эшафоте, Александр Ульянов — для нас это несомненно — был бы среди молодых социал-демократов вместе с братом Владимиром.

Но в конце 1886 года Александр еще не успел полностью освободиться от влияния народовольческих идей. А главное — он видел в народовольческой организации силу, которая боролась против общего врага. Отсюда и рождалось желание как-то объединить действия обоих революционных течений.

Следует учесть, что переход известной части народовольцев на позиции революционных социал-демократов был нелегок, порой мучительно труден. И далеко не все из них, соприкоснувшись с учением Маркса и Энгельса и даже уверовав, как им казалось, в него, нашли в себе силы отрешиться от народнической идеологии и стать на почву подлинно научной революционной теории. Разительный тому пример — знакомство Веры Фигнер с первым томом «Капитала», который она назвала «монументальным произведением».

«Оно произвело на меня,— писала Фигнер в «Очерках автобиографических»,— исключительное по своей силе впечатление: это было, можно сказать, мое второе крещение в социализм».

«Чувство ужаса и сострадания» вызвали у Фигнер страницы, где описывался труд на фабриках Англии: «Рабочие, доведенные до совершенно скотского отупления... Крошечные дети, малютки семи и даже пяти лет, которых железные когти капитализма втягивают в фабричный труд... Было от чего всей крови броситься в голову... Но не только одни глубокие эмоции вызвало во мне чтение «Капитала». Я поняла научные основы социализма, которые закладывал Маркс, все то мировоззрение, которое впоследствии получило название материалистического понимания истории».

«Мастерски изобразив отрицательные стороны капитализма,— писала далее Фигнер,— он раскрыл во всю ширь положительные стороны его... Поступательное естественное движение капитализма в силу своих имманентных свойств само приведет к своему уничтожению... Не одни мы, отдельные личности, боремся за освобождение человечества от экономического рабства; вместе с нами и помимо нас к тем же самым целям идет история... неизмеримая фатальная сила толкает капиталистический строй в пропасть».

Естественно было бы предположить, что, пленившись марксовой теорией развития и

гибели капитализма, приняв ее за прочную опору для личной деятельности, Фигнер уйдет из-под знамен народнической идеологии и станет в ряды революционного движения, воодушевленного идеями Маркса. Но...

«Прежние взгляды,— признавалась Фигнер,— лежали основным пластом, а вверху расположилось все, почерпнутое из книги «Капитал». И эти два слоя не перемешивались сверху донизу...»

Словом, испытав в результате чтения «Капитала» свое «второе крещение в социализм», Фигнер так и осталась народоволкой. А ведь это было после 1 марта 1881 года, когда жизнь разрушила народовольческие иллюзии насчет того, что удачное покушение на царя зажжет, подобно искре, пожар крестьянской революции. Это было в пору, когда могущество «Народной воли» почти полностью исчерпалось.

В этих условиях, казалось бы, само собой напрашивалось решение — раз навсегда распроститься с народовольческой политической доктриной. Но Фигнер — умнейшая, высокообразованная, интеллектуально мужественная деятельница революционного движения — не нашла в себе сил для этого.

Александр Ульянов принадлежал к иному поколению русских революционеров. Для этого поколения отказ от обаятельного впечатления героического народовольчества тоже был делом нелегким и требовал бесстрашной работы мысли.

Александр сразу после знакомства с пер-

вым томом «Капитала» проникается глубоким интересом к марксизму. Ему удалось раздобыть и вместе с Говорухиным прочитать одну из первых работ Маркса, опубликованную в «Немецко-французском ежегоднике»,— статью «К критике гегелевской философии права». Он даже сделал ее перевод на русский язык, намереваясь опубликовать в нелегальном издании.

«Помню до сих пор,— писал Говорухин в 1927 году,— как мы читали о еврейском вопросе и о философии права Гегеля. Александр Ильич с восторгом следил за блестящей диалектикой Маркса и бурно выражал свой восторг... Александр Ильич предполагал прочесть со мной все другие сочинения Маркса и Энгельса, какие только можно было достать в то время в Петербурге, и первым из них он намечал брошюру «К критике политической экономии»».

В работах Маркса его пленил самый подход к историческому процессу, раскрытие объективных закономерностей общественного развития.

Он внимательно прочитал первые крупные марксистские работы Плеханова — «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия».

Вооружившись таким образом, он подверг анализу и критике народовольческие взгляды. Нашумевшую в то время книжку столпа либерального народничества В. Воронцова «Судьбы капитализма в России» прочитал основательно, с карандашом в ру-

ках и сделал многочисленные записи, которые долго хранились у Чеботарева. До нас они не дошли, но вот что писал Чеботарев в своих воспоминаниях:

«Перечитывая эти заметки, я видел, как широко и глубоко уже тогда Александр Ильич понимал экономические вопросы, и, стоя в своей практической деятельности (заметки писаны не раньше осени 1886 г.) на почве народничества, он видел, как быстро развивается в России капитализм, критически относился к идеям В. В. (под таким псевдонимом выступал В. Воронцов.— *В. С.*) и выражал сомнение в прочности русской общины как базы социального переустройства. Не знаю, может быть, тут сказалось влияние появившейся тогда книги Плеханова «Наши разногласия», о которой я помню отзыв Александра Ильича — «интересная книга»».

Посмотрим теперь, как изучение марксизма отразилось и в программе, написанной Ульяновым, и в его речи на суде. Лучше всего сделать это при помощи выписки из статьи Ленина «Мелкобуржуазный и пролетарский социализм», написанной в 1905 году и направленной против эсеровских взглядов:

«Народничество было до известной степени цельным и последовательным учением. Отрицалось господство капитализма в России; отрицалась роль фабрично-заводских рабочих, как передовых борцов всего пролетариата; отрицалось значение политической

революции и буржуазной политической свободы; проповедовался сразу социалистический переворот, исходящий из крестьянской общины с ее мелким сельским хозяйством».

«Человек будущего в России — мужик, думали народники, и этот взгляд вытекал неизбежно из веры в социалистичность общины, из неверия в судьбы капитализма. Человек будущего в России — рабочий, думали марксисты, и развитие русского капитализма, как в земледелии, так и в промышленности, все более и более подтверждает их взгляды».

Сопоставим теперь по пунктам взгляды Александра с тем, что сказано в ленинской статье.

1. Судьбы капитализма в России. В «Программе террористической фракции партии «Народной воли»» записано:

«К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития; он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства».

Прибавив к этому убеждение Александра Ульянова, что развитие капитализма в России идет быстрым темпом,— убеждение, высказанное в заметках о книге «Судьбы капитализма в России».

2. В прямом противоречии со взглядами

народников, уповавших на мужика, отводивших ему, а не рабочему классу главную роль в социалистическом переустройстве жизни, Александр Ульянов эту роль отдавал именно пролетариату. В программе сказано:

«Только на известной ступени экономического развития общества, при достаточной зрелости его, возможно осуществление социалистического идеала... как результат изменения в отношении общественных сил в стране, как результат количественного или качественного увеличения силы и сознательности в рабочем классе».

И далее:

«Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменения общественного строя, борясь за свои экономические нужды, но и политической борьбе настоящего он может оказывать самую серьезную поддержку, являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой. Он должен поэтому составить ядро социалистической партии, ее наиболее деятельную часть, и пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии».

Убеждение, что именно рабочий класс призван сыграть главную роль в социалистическом преобразовании России, что подготовка его к этой роли должна быть важнейшей заботой партии, сказалось и в практической деятельности Александра Ильича.

Будучи занят и учебой в университете, и

работой в студенческих организациях, а в последние месяцы еще и подготовкой к покушению, Александр Ильич находил время для налаживания связи с нелегальными рабочими кружками на Васильевском острове. К сожалению, сведения об этой его деятельности необычайно скудны. Но можно не сомневаться — если бы не арест, Александр быстро стал бы крупным организатором пролетарских революционных сил в этом районе столицы.

3. Программа террористической фракции не отрицала значения буржуазной политической свободы. «Без свободы слова», «без участия народных представителей в управлении страной», говорилось в программе, невозможно достижение конечных целей социалистической партии. Поэтому борьба за «свободные учреждения», хотя она и не является главной задачей для русского социалиста, необходима как непременное условие перехода к социалистическим формам общественной жизни. (Этой теме была посвящена и значительная часть речи на суде.) Что же касается самого перехода, его характера — политическая революция или какой-то постепенный процесс, то и в программе и в речи он фактически освещен не был.

4. Крестьянская община. Этот пункт представляет, пожалуй, наибольший интерес для исследователя политических взглядов Александра Ульянова.

Вряд ли можно оставить без внимания ут-

верждение Чеботарева, что Александр Ильич «выражал сомнение в прочности русской общины как базы социального переустройства». Однако в программе после заявления о неизбежности перехода к социализму, коль скоро страна стала на путь капиталистического развития, говорится: «Этот закон не выражает собой, конечно, единственно возможного пути; он не исключает возможности более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства, если для этого существуют особенно благоприятные условия...»

Некоторые авторы, писавшие об Александре Ульянове, расценили эти строки как неоспоримое доказательство того, что он, по сути дела, остался верен главному догмату народников — утверждению, что у России особый путь исторического развития, на котором нет места капиталистической стадии. Нам это представляется ошибкой. Не имея возможности в кратком биографическом очерке подробно останавливаться на этом специальном вопросе, мы ограничимся ссылкой на Маркса и Энгельса, которые неоднократно, в течение ряда лет обращались в статьях, письмах к судьбе русской крестьянской общины, к ее роли в процессе преобразования России.

В первом наброске ответа на письмо В. И. Засулич Маркс писал: «Если революция (в России.— *В. С.*) произойдет в надлежащее время, если она сосредоточит все свои силы, чтобы обеспечить свободное раз-

витие сельской общины, последняя вскоре станет элементом возрождения русского общества и элементом превосходства над странами, которые находятся под ярмом капиталистического строя». Небезынтересно, что это было написано в конце февраля — начале марта 1881 года, то есть в момент, когда народовольцы казнили Александра II.

В январе 1882 года Маркс и Энгельс заключили предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» следующими строками:

«Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Таким образом, ничего специфически народнического, антимарксистского в мысли Александра Ульянова о возможности перехода России к социализму, минуя капитали-

стическую стадию, не было. К тому же эта мысль выражена в программе мимоходом, как возможность абстрактная, практически нереальная, поскольку Россия уже вступила на путь капиталистического развития.

К сказанному нелишне, пожалуй, прибавить, что окончательную ясность в эту проблему, ставшую в наш век поистине глобальной, внес брат Александра Ульянова — Владимир Ульянов.

Летом 1920 года, на II конгрессе Коминтерна, выступая от имени комиссии по национальному и колониальному вопросам, Ленин говорил:

«Постановка вопроса была следующая: можем ли мы признать правильным утверждение, что капиталистическая стадия развития народного хозяйства неизбежна для тех отсталых народов, которые теперь освобождаются и в среде которых теперь, после войны, замечается движение по пути прогресса. Мы ответили на этот вопрос отрицательно... Коммунистический Интернационал должен установить и теоретически обосновать то положение, что с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития».

Вернемся, однако, к программе, написанной рукою Александра Ильича.

В отличие от народнических программных документов она не содержала никаких

революционных упований на крестьянство: «...при своей неорганизованности и отсутствии ясного сознания своих политических нужд оно может оказывать современной политической борьбе лишь бессознательную поддержку своим общим недовольством».

Наконец, надо иметь в виду и тактическую целенаправленность программы — стремление объединить социал-демократические и народнические элементы русского революционного движения. Ведь и в самой террористической группе Ульянова были люди не только увлеченные идеями Маркса, но и резко, демонстративно заявлявшие о своей неколебимой приверженности к народовольческим воззрениям, например Андреюшкин, один из трех бомбометателей. Поэтому не легко установить с высокой степенью точности, какие положения программы народнического характера выражали взгляды самого Ульянова и какие были продиктованы соображениями тактического порядка. Мы можем делать лишь осторожные предположения. Например, включение в программу мысли о принципиальной возможности достичь социализма в России особым путем, минуя капиталистическую фазу, вероятно, надо считать тактической данью Ульянова последователям «Народной воли». Он-то был твердо убежден, что эта проблема снята самой жизнью, раз страна уже находится на пути капиталистического развития и нет никаких сил, кото-

рые могли бы повернуть ее вспять. С другой стороны, строки программы, характеризовавшие крестьянство, по-видимому, соответствовали и его личным взглядам. Здесь было сказано:

«Несмотря на значительное развитие в его среде мелкой буржуазии, крестьянство еще прочно держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической».

И хотя здесь речь шла только о крестьянском хозяйстве, а не об экономическом строе России в целом, такая надежда, несомненно, была навеяна народническими представлениями, существенные остатки которых сказывались на политическом настроении Александра Ильича. Например, в программе вместо отчетливой классовой характеристики русского царизма мы находим наивные и даже невнятные формулировки, столь чуждые ульяновскому литературному стилю:

«Русское правительство также принято считать за самостоятельную общественную силу. Оно действительно является таковою, так как не выражает собой ни одной из существующих общественных сил, а держится милитаризмом и отрицательными свойствами нашего общества: его неорганизованностью, пассивностью и недостатком политического воспитания».

Само собой разумеется, мы должны принимать в расчет обстановку, ситуацию, в которой Александр Ульянов по памяти восстанавливал написанную им незадолго до ареста программу (тюремная одиночка, бесконечные допросы, ожидание беспощадного суда).

С решающей силой народовольческие мотивы проявились в столь важном пункте программы, как подробное обоснование необходимости террористической борьбы.

«Для народовольца,— писал Ленин,— понятие политической борьбы тождественно с понятием политического *заговора*». Эта характеристика целиком приложима к группе Александра Ульянова. В самом деле, она возникла как группа студентов, убежденных в том, что террор является единственным средством эффективной политической борьбы с царизмом, поскольку «у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности». Она возникла как заговор единомышленников, поставивших перед собой определенную задачу — казнить Александра III. И вся быстротечная деятельность группы, строго ограниченная такой задачей, свелась к изготовлению динамита, мелко нарубленных и отравленных стрихнином кусочков свинца, которые при взрыве бомбы должны были разлетаться с убойной силой во все стороны, к усовершенствованию запалов, устройству механизма, исключающего преждевременный взрыв бомбы, и, само собой разумеется,

к слежке за редкими выездами царя из Гатчинского дворца в столицу.

Таким образом, группа Ульянова, если иметь в виду цель и средства, ничем не отличалась от террористических групп «Народной воли». Герои 1 марта 1887 года, как и герои 1 марта 1881 года, все свои — далеко не равные! — силы отдали террору.

И это тот результат, к которому привели студента Ульянова его искания правильной теории?

Огорчение, окрашивающее такой вопрос, понять нетрудно. Но не станем спешить с оценкой. Чтобы не ошибиться, надо мысленно перенестись в политическую атмосферу интересующей нас эпохи. Тут на помощь нам может прийти Энгельс, который около полустолетия внимательно следил за жизнью России и был глубоким знатоком ее исторического развития.

Вот один из ранних его откликов на интересующий нас вопрос:

«Уже несколько лет я обращаю внимание европейских социалистов на положение в России, где назревают события решающего значения. Борьба между правительством и тайными обществами приняла там настолько острый характер, что долго это продолжаться не может. Движение, кажется, вот-вот вспыхнет. Агенты правительства творят там невероятные жестокости. Против таких кровожадных зверей нужно защищаться как только возможно, с помощью пороха и пуль. Политическое убийство в России единствен-

ное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима».

Это было написано в марте 1879 года, то есть ровно за два года до взрыва бомбы, брошенной рукою народовольца Гриневицкого в Александра II.

По смыслу этих строк можно было бы заключить, что Энгельс расценивал революционный террор исключительно как оружие защиты, революционной самообороны. Однако по письму, отправленному Энгельсом своему постоянному женевскому корреспонденту И. Ф. Беккеру в декабре того же года, мы убеждаемся, что он связывал с террором не только мотивы оборонительного характера: «В России дела обстоят великолепно! Там, пожалуй, развязка близка... Это будет ближайшим поворотным пунктом во всемирной истории».

Но окончательную ясность в эту проблему вносит письмо одного из ближайших русских друзей Маркса и Энгельса, первого переводчика «Капитала» — Германа Александровича Лопатина. Оно было адресовано Марии Николаевне Ошаниной, видной деятельнице «Народной воли», члену ее Исполнительного комитета. Лопатин рассказывал в нем о той своей встрече с Энгельсом, которая состоялась вскоре после смерти Маркса — в марте 1883 года.

«Мы много говорили о русских делах, о том, как пойдет, вероятно, дело нашего по-

литического и социального возрождения. Как и следовало ожидать, сходство взглядов оказалось полнейшее; каждый из нас то и дело договаривал мысли и фразы другого. Он тоже считает (как и Маркс, как и я), что задача *революционной* партии или партии *действия* в России, в данную минуту, не в пропаганде нового социалистического идеала и даже не в стремлении осуществить этот далеко еще не выработанный идеал с помощью составленного из наших товарищей временного правительства, а в направлении всех сил к тому, чтобы 1) или принудить государя созвать Земский собор, 2) или же путем устрашения государя и т. п. вызвать такие глубокие беспорядки, которые привели бы иначе к созыву этого Собора или чего-либо подобного *. Он верит, как и я, что подобный Собор *неизбежно* приведет к радикальному, не только политическому, но и социальному переустройству... Он верит, что, раз начавшись, это переустройство, или революция, не может быть остановлено никакими силами. Важно поэтому только одно: разбить роковую силу застоя, выбить на минуту народ и общество из состояния косности...»

---

* Вряд ли надо пояснять, что слова «устрашение государя» и т. п. означали систематический террор, в результате которого царь был бы убит либо, преследуемый многократными террористическими актами, не выдержал, сдался на милость победителей и вручил скипетр вкупе с державой временному революционному правительству.

Мы не поскупились на цитаты, на их подробное воспроизведение. Хотелось, чтобы читатель без колебаний согласился с нами в том, что в интересующую нас историческую эпоху отношение к террору не могло быть той лакмусовой бумажкой, которая однозначно и точно определяла, кто марксист, а кто народоволец. И вообще, в это кризисное для русского революционного движения время был труден, необычайно труден, особенно для необстрелянной в теоретических боях молодежи, выбор пути, методов и средств борьбы с царизмом.

Теперь вернемся к Ульянову.

Несомненно, террористическая борьба, заговорщическая деятельность находились в противоречии с его мыслями об исторической революционной роли пролетариата, о долге революционной интеллигенции, которая свои силы «должна посвящать организации и воспитанию рабочего класса, его подготовке к предстоящей ему общественной роли». Однако, полагал Александр Ильич, «при существующем политическом режиме в России почти невозможна никакая часть этой деятельности». Надо, следовательно, добиться изменения режима, полной «свободы совести, слова, печати, сходок, ассоциации» и т. д. Но какое же для этого есть средство, если не террор? Беспощадный, систематический террор, который вынудит самодержавие пойти на все необходимые политические уступки!

В сущности, это была та же народовольческая иллюзия.

Но были еще и эмоции, о которых мы сказали в начале предыдущей главы словами Сергея Никонова:

«Идея цареубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовался гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень многие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота?»

Александр Ульянов принадлежал к числу людей, которые, задаваясь подобными вопросами, отвечают на них не только словом, но и делом. Став на дорогу террора, он совершил трагическую ошибку и расплатился жизнью. Но раньше, чем это произошло, ему пришлось возложить на алтарь революционной борьбы две тяжкие жертвы.

НАУКА СКЛОНЯЕТСЯ ПЕРЕД ПОЛИТИКОЙ

Напомним читателю слова Брагинского. «Идея служения народу была центральной идеей нравственного и политического миросозерцания Ульянова». Поэтому, справедливо считал Брагинский, он и науку любил «не как самоцель, а как могучее орудие служения народу, человечеству». Родственную, но гораздо более определенную мысль высказал известный русский востоковед академик С. Ольденбург, учившийся в Петербургском университете одновременно с Александром Ульяновым. Он спрашивал себя: что побуждало последнего работать в студенческом научно-литературном обществе?

«Этот вопрос я ставил после его смерти не раз,— писал Ольденбург в 1924 году.— И удовлетворительный ответ получил, только когда познакомился потом с его братом, Владимиром Ильичем. Да, Александр Ильич был, как и брат, прежде всего человеком воли и действия. Эта сторона его характера определила для него ту террористическую деятельность, которая и привела его к смерти. Но наряду с этим в нем, как и в его бра-

те, была заложена глубокая вера и любовь к науке: разрушая старую жизнь, которая рисовалась ему как сплошное рабство, он понимал, что новую, свободную, рациональную жизнь, для которой он не жалел жизней, своей и чужих, можно создать, только опираясь на науку, с ее неуклонным свободным исканием. Оттого он с такой любовью вел свои глубоко специальные лабораторные занятия по зоологии, оттого он писал с таким увлечением специальную, столь, казалось, далекую от жизни, а особенно от террористического акта, работу, за которую ему присудили потом золотую медаль».

Несомненно, такую любовь, такое понимание науки Александру привил отец, человек отчетливо просветительских взглядов. Вся деятельность Ильи Николаевича, начиная с преподавательской и кончая работой директора народных училищ, была ярко окрашена верой в то, что знания, распространяемые в народе, способствуют улучшению его жизни. Но первые проблески интереса к науке обнаружились у Александра еще в том раннем возрасте, когда мысль о социальной роли научных знаний была просто недоступна для его детского ума. Летняя жизнь в Кокушкине, деревенское приволье, казавшееся, по словам Анны Ильиничны, чем-то «несравненно красочным и счастливым», пробудили у мальчика-горожанина естественное любопытство к окружающей природе. Вскоре оно обернулось любознательностью. Саша пристрастился собирать разного рода коллек-

ции. Особенно запомнилась Анне Ильиничне прекрасная коллекция птичьих яиц, которую брат ухитрялся пополнять даже в городских условиях, в Симбирске. А затем началось чтение книг — о природе, об ученых, которые ее изучают. И наконец, в духовный мир Александра и Анны ворвался «кумир ранней юности» — Писарев со своей страстной проповедью естественнонаучных знаний, резкими, прямолинейными взглядами на проблемы эстетики, суровым нравственным кодексом «мыслящих реалистов», коими должны были быть, по его мнению, представители передовой интеллигенции.

«Брали мы Писарева, запрещенного в библиотеках,— писала Анна Ильинична,— у одного знакомого врача, имевшего полное собрание его сочинений. Это было первое из запрещенных сочинений, прочитанное нами. Мы так увлеклись, что испытывали глубокое чувство грусти, когда последний том был дочитан и мы должны были сказать «прости» нашему любимцу».

Анна под влиянием нравственной проповеди Писарева отказалась даже от уроков музыки, а Сашу он «отвратил от любимого Пушкина». Но главное было в том, что это чтение «от доски до доски» разогрело и без того сильное увлечение Александра естественными науками. Еще раньше он наладил себе собственными руками маленькую лабораторию, научился с помощью спиртовки гнуть стеклянные трубочки, смастерил прибор для гальванопластики. Исчерпав запас

колб и реторт, которые можно было получить в Симбирске, стал выписывать все нужное для простейших химических опытов из Казани, а чтобы иметь для этого деньги, в последних классах гимназии взялся репетиторствовать. На эти же деньги приобрел он, и немало, книг из библиотеки учителя Чугонова, по дешевке распродававшейся после смерти владельца.

Гимназия — с ее латынью и греческим, со схоластикой, с учителями, которые в большинстве были достойны сатирического пера Гоголя,— мало что давала Александру. И он, в помыслах об университете, стремясь явиться перед профессурой хорошо подготовленным, не терял ни минуты времени, отведенного им для самостоятельных занятий.

В последние годы пребывания на гимназической скамье Александр увлекался химией, которую основательно изучил в домашней обстановке с помощью всемирно известного учебника Менделеева «Основы химии». Мог ли он думать тогда, что эти «основы» дадут ему возможность легко освоить процесс кустарного приготовления динамита!

В университете химия неожиданно должна была потесниться и даже отойти на второй план. Александра стала все больше и больше привлекать биология, точнее, зоология, еще точнее, зоология беспозвоночных. Это произошло под влиянием такой обаятельной личности, как Николай Петрович Вагнер. Крупный ученый, профессор, он ведал кафедрой зоологии беспозвоночных.

Александр не сразу изменил химии — столько было ей отдано в Симбирске, столько радостей она ему доставила! К тому же знаменитый Бутлеров не желал упускать из числа своих учеников талантливого юношу. И все же спор химика Бутлерова с зоологом Вагнером кончился победой последнего. Приход молодого ученого к зоологам принес ему... вторую золотую медаль. Вот как это произошло.

В Санкт-Петербургском Императорском университете существовала давняя традиция — ежегодно проводить студенческие конкурсы и лучшие письменные работы отмечать награждением авторов медалями. 8 февраля, в день основания университета, в переполненном актовом зале, где кроме студентов и профессуры присутствовал обычно сам министр народного просвещения, эти награды торжественно вручались победителям.

В 1885 году студент второго курса естественного отделения физико-математического факультета Александр Ульянов избрал для конкурсного сочинения тему: «Исследование строения сегментарных органов пресноводных «Annulata»». Год прошел в напряженной работе — в изучении литературы предмета, наблюдениях и исследованиях при помощи микроскопа. Александр, как мы уже знаем, мог работать по шестнадцать часов в сутки, когда этого требовало дело или когда был чем-то особенно увлечен. А этой работой, по свидетельству Анны Ильиничны, он

увлекался необычайно. «Помню,— писала она,— как-то раз я наклонилась над кишащими, объемом чуть не в нитку червями, спросив у него: «Неужели у них все органы дыхания, пищеварения есть?» И он с оживившимся лицом, очевидно довольный, что любимая им область встречает интерес, ответил: «Да!»»

В конце того же года Александр представил свою работу на суд специального жюри, рецензент которого, академик Овсянников, оценил ее следующим образом:

«Здесь, в этой хорошо обследованной области, каждый новый факт имеет тем большую цену, что он добывается значительным трудом. Проверять, а тем более поправлять работы таких опытных исследователей, как Лейдиг или Шультце, или такую тщательную работу, как работа Бёрна,— для этого нужно иметь довольно значительную долю опытности и прилежания. Вот основания, по которым автора, студента VI семестра Александра Ульянова, факультет нашел возможным вознаградить за его старательный труд золотой медалью».

8 февраля 1886 года в актовом зале Александру среди других победителей конкурса была вручена золотая медаль с надписью: «Преуспевшему». Ректор университета И. Андреевский, поздравляя, назвал его «гордостью университета», что, впрочем, не помешало тому же Андреевскому всего через год с небольшим, сразу же после ареста Александра, в том же актовом зале объявить

«бывшего» студента Ульянова «позором университета».

Итак, вторая золотая медаль в юношескую пору. С этого момента уже ни у кого не было сомнения, что Александра оставят при университете для подготовки к профессорской деятельности. Конечно, он испытывал чувство законной гордости, унося домой дорогую награду. Она и в прямом смысле была дорогой: по весу содержавшегося в ней золота оценивалась свыше ста рублей. Но когда срочно потребовались деньги для бегства Говорухина за границу, Александр, не колеблясь, заложил ее в ломбарде. И это был не единственный шаг в жизни, означавший готовность выручить товарища, выручить даже и в тех случаях, когда такая выручка, как это было на суде, грозила смертью.

Скромный и застенчивый в проявлении своих чувств, Александр сообщил о своем успехе матери лишь в письме от 2 марта и всего одной фразой: «За мою зоологическую работу о кольчатых червях (я еще летом начал работать) получил золотую медаль». А далее в коротком письме шло: «Все у нас по-старому, не знаю, что сказать тебе еще, милая мамочка». А мать одновременно и радовалась и горько плакала: отец, умерший всего полтора месяца назад, уже не может порадоваться этому известию. Несомненно, оно доставило бы ему большое удовлетворение. Ведь Илья Николаевич, сам окончивший физико-математический факультет и высоко ценивший научную работу, был твердо

убежден, что старшего сына ждет успех на поприще науки.

«Помню разговор отца,— писала Анна Ильинична,— с кем-то о том, почему Саша выбрал естественный факультет.— Приложения к жизни никакого нет; кем быть? Только учителем? — заявил собеседник отца.— Можно профессором,— сказал отец, просто и скромно, как всегда, но гордость сыном светилась в его глазах.— Да, если так, конечно,— сбавив тон, с видимым уважением ответил тот».

Скромность — скромностью, но Александр уже твердо знал, что он выбрал в жизни дело, в котором достигнет немалых успехов. Он это знал и по собственному разумению, и по отношению к нему профессоров.

Александр ощущал в себе талант незаурядного исследователя, о котором после его смерти Менделеев отозвался словами самой высокой похвалы.

«Эти проклятые социальные вопросы,— сказал Менделеев в стенах университетской аудитории,— это ненужное, по моему мнению, увлечение революцией,— сколько оно отнимает великих дарований. Два талантливейших моих ученика, которые, несомненно, были бы славой русской науки — Кибальчич и Ульянов,— пожраны этим чудовищем».

Простим, читатель, великому химику его политическую наивность. Он вовсе не был ретроградом или царским угодником, вроде трусливого Андреевского. Наоборот, это был человек свободомыслящий, независимый в

суждениях. Не раз вызывали они резкое недовольство в правительственных сферах, и только мировая слава спасала его от репрессий. Но у него были свои убеждения насчет того, какими путями следует выводить отсталую Россию на широкую дорогу прогресса, как добиваться благосостояния народа.

Впрочем, теперь спор профессоров о научной специализации студента Ульянова для него самого уже не имел практического интереса.

Решившись отдаться террористической деятельности, Александр отчетливо сознавал, что его почти наверняка ждет виселица. А это означало необходимость тяжкой жертвы — распрощаться с наукой, похоронить в сердце, которое пока еще билось, свою великую любовь к ней. Он никому из товарищей не обмолвился ни словом о своей трагедии. Они могли лишь догадываться, как Новорусский, или понимать ее, исходя из собственного опыта, как Лукашевич.

Участник террористической группы Ульянова, его однокурсник, избегнувший смерти, но отсидевший вместе с Новорусским около двадцати лет в Шлиссельбурге,— Иосиф Лукашевич впоследствии писал о том, как велика была для него такая же трагедия. Из его строк мы косвенным путем можем представить себе, что должен был пережить Ульянов, прощаясь с наукой. Поэтому мы выпишем из воспоминаний Лукашевича эти рассуждения полностью, тем более что ему удалось выразить свои чувства и мысли в яркой форме:

«Отказаться от личной жизни и предстоящих успехов, погибнуть в расцвете сил и молодости и причинить своей смертью глубокое горе и долгие годы страдания своим родным и друзьям — все это, разумеется, очень тяжело, мучительно, однако с этим можно примириться. Но из глубины моей души поднимался тихий и слабый, но пронизывающий, жгучий вопль протеста. Чей же это голос звал меня к жизни?

С каждым годом круг моих знаний быстрыми взмахами расширялся во всех направлениях, и светоч науки озарял мне ярким светом все новые и новые области, завлекая меня все дальше и дальше в безбрежный океан знаний. Мысль моя работала неустанно, лихорадочно, и душа моя была захвачена, пленена величием, мощью и красотою науки. Она была для меня неисчерпаемым источником чистых радостей, сильных возвышенных переживаний. Я видел, как в этом бурлящем и клокочущем океане знания зарождаются молодые созданьица, мои собственные новые, еще не оформленные идеи, как они группируются в зачаточные теории, обещавшие со временем вырасти в новые стройные оригинальные теории. И вот это поколение новонарождающихся идей обрекалось мною на погибель,— мне их было невыразимо жаль, было невыносимо больно, так же мучительно, как отцу слышать вопль своих детей, ведомых им самим на казнь.

Быть может, многим это душевное состояние покажется странным, неестественным,

но тот, в ком есть искра самостоятельного творчества, поймет меня.

Эту душевную трагедию пережил и Александр Ильич. От природы он был сдержан, молчалив и не склонен к экспансивным излияниям, но мы понимали друг друга без слов. Не раз я видел Александра Ильича сидевшим неподвижно, подперши голову обеими руками, с глубокой печалью на лице и взором, устремленным вдаль. И чем ближе было к развязке, тем угрюмее и мрачнее становился Александр Ильич».

Вероятно, надо согласиться с утверждением Лукашевича, что Александр пережил эту же трагедию — оба были влюблены в науку, оба должны были готовиться к гибели всех планов только что начавшегося научного творчества. И все-таки в эту аналогию следует внести по крайней мере одну существенную поправку. Лукашевич поставил науку как главную и самую тяжелую жертву, которую потребовал от него террор. Анна Ильинична была, несомненно, права, когда говорила, что брата с наибольшей силой должна была отвращать от террора мысль о матери и семье в целом. Об этой жертве, о том, как Александр нашел в себе силы ее принести, читатель узнает из следующей главы. А пока мы еще должны задержаться на науке, которая была вынуждена склониться перед политикой.

Может показаться парадоксом утверждение, что наука не только бурно протестовала против террора, но одновременно и толкала

Александра на террористическую борьбу. Но ничего парадоксального тут нет. Анна Ильинична рассказывала, как реагировал брат на принесенное ею известие о закрытии журнала «Отечественные записки», а также на слух, оказавшийся, правда, ложным, что его редактор, Салтыков-Щедрин, арестован.— «Это такой наглый деспотизм — лучших людей в тюрьме держать!..— сказал он негромко, но с такой силой возмущения, что мне стало снова жутко за него». И далее: «...теперь я думаю, что более проницательный наблюдатель предсказал бы и тогда его путь. Уменье ставить перед собой главную цель и неуклонно идти к ее осуществлению, страстная любовь к науке спасали его первое время». Но Анна Ильинична одновременно отмечала, что увлечение наукой не отгораживало брата от жизни, в частности от ее темных сторон, от общественных проблем, которые перед Александром неизбежно возникали. И как только жизнь резко, настойчиво и во весь рост их перед ним поставила, так все, что его спасало первое время, стало действовать в противоположном направлении. Как только изменилась главная цель, так умение неуклонно идти к ее осуществлению да и сама наука стали вооружать его для террористической борьбы.

Разве не наука заставила Александра сказать Говорухину, что смешно и безнравственно лечить болезни, в том числе и социальные, не понимая причины их? И если он, Александр, пришел к мысли о жестокой не-

обходимости участвовать в лечении социальных болезней, то наука должна была помочь ему в поисках действенных лекарств. Так привычка к глубокому научному мышлению толкнула его на поиски правильной революционной теории.

Говорухин писал, что его в Александре пленяла «способность мыслить самостоятельно, оригинально,— способность, чрезвычайно редко встречающаяся в людях», что, сделавшись революционером, он «не довольствовался господствовавшими шаблонными взглядами». Это тоже шло от его научных занятий — уже в первой своей работе, в конкурсном сочинении, он, по отзыву рецензента, внес нечто свое, новое в область знаний, где крупные ученые Запада успели основательно поработать. Но еще определенней высказался об этой особенности ума и характера своего друга Чеботарев:

«Строгой логичностью своих умозаключений Александр Ильич отличался всегда, и его не пугал вывод, хотя бы он противоречил обычным нормам, разрушая самые привычные воззрения, симпатии и убеждения, и даже возмущал привычные чувства. Он строго держался своего логического вывода из раз принятых им посылок и неустрашимо проводил его в жизнь, если даже это угрожало его собственной жизни; он не способен был отступать от своих выводов, что и доказал своей смертью».

Александру так и не удалось прочитать все произведения Маркса, которые можно

было достать в Петербурге. В частности, не удалось прочитать брошюру «К критике политической экономии». В предисловии к этой работе Маркс, вспоминая строфы Данте, писал: «...у входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование:

Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета».

Эти строки основателя научной теории коммунизма живо откликнулись бы в душе Александра Ульянова. Да, он был бесстрашен в своих выводах, не отступал от них, если только сам не обнаруживал их ошибочности, и неуклонно следовал им в практической деятельности.

И еще одно обстоятельство, также тесно связанное с наукой, укрепляло его решение отложить в сторону любимое дело и отдать все силы революционной борьбе. Три года жизни в Питере убедили Александра в том, что существующий общественный строй не заинтересован в развитии науки, более того — всячески этому препятствует. «При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует,— говорил он на суде,— невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднена».

Так наука не только склонилась перед политикой, но и помогла последней ускоренными темпами превратить подававшего

большие надежды ученого-зоолога в революционера-террориста.

Зная Александра Ульянова — его смелость, решительность, его высокоразвитое чувство долга, которое, по мнению Анны Ильиничны, было преобладающим в характере брата,— зная все это, мы не должны удивляться, что он нашел в себе силы принести свою любовь к науке на алтарь террора. И критическим моментом был даже не тот, когда Александр решил рискнуть жизнью, войдя в террористический заговор, а тот, когда он, вырабатывая свои политические взгляды, пришел к мысли о необходимости террора.

Одобрил бы отец его измену науке? Нет, конечно! Для него новая цель, ради которой совершалась измена, была ужасна, безнравственна. Мы знаем это от Анны, рассказавшей о реакции Ильи Николаевича на убийство Александра II. Тут действовало многое: и его отрицание революционных методов борьбы вообще, и положительная оценка царствования Александра II, который, как ему казалось, рассеял тяжелый мрак режима Николая I, многозначительно прозванного Николаем Палкиным, и христианская религиозность с ее нравственными догматами, включавшими заповедь «не убий».

Когда подготовка к террористическому акту подходила к концу, Александр, как и Лукашевич, старался каждую свободную минуту проводить в университетской лаборатории. Хотелось лишний раз глотнуть жи-

вительного воздуха науки. Это было мучительно-сладостным прощанием с ней. И оно еще раз обмануло Анну.

«Около первых чисел февраля,— писала Анна Ильинична в книге о брате,— Саша засел опять основательно в зоологический кабинет университета, где стал проводить все утра. Он начал новую самостоятельную работу по изучению органа зрения у какого-то вида червей. Нервная беготня последнего бремени как будто прекратилась или, во всяком случае, приостановилась. И я почувствовала большое облегчение...»

А между тем дело быстро приближалось к трагической развязке.

Александр Ульянов любил науку и ценил самостоятельное творчество не меньше Лукашевича. И все-таки, в отличие от последнего, не наука была для него, уже испытавшего радость первого крупного научного успеха, самым большим препятствием на пути к террору. Тут сказалось несходство их характеров.

«Созданьица», упомянутые Лукашевичем, дороги каждому создателю, и «слышать вопль своих детей, ведомых им самим на казнь», для каждого создателя — что и говорить! — трагедия душераздирающая. Ульянов воспринимал ее как свою личную трагедию, как собственную свою беду. А для науки... Наука может и не заметить этой потери. Найдутся люди, которые, быть может, даже лучше сделают то, что он лелеял в своих планах. Непременно найдутся, не могут не найтись — такова потребность науки. Примерно так, если помнить о его скромности, должен был думать Александр, навсегда прощаясь с наукой.

Но кто заменит его в семье? Никто! Еще год, другой — и он стоял бы крепко на ногах. Владимиру для этого нужно не менее шести. И память об отце безжалостно корила его за новый выбор жизненной цели.

Илья Николаевич, человек некрепкого здоровья, боялся, что ему вряд ли удастся дослужить до пенсии. Пока он работал, семья не бедствовала, но все же каждая копейка была в доме на счету. Жалованье небольшое, сбережений почти никаких, «и судьба семьи,— писала Анна Ильинична,— все время очень заботила его». Он не раз говорил им, старшим — Анне и Александру, что, окончив гимназию, они должны будут «ставить на ноги меньших братьев и сестер». Теперь отца нет, и мать одна, бог весть как, тащит тяжелый воз скромного и шаткого семейного благополучия. Думать об этом — сердце кровью обливается!..

Илья Николаевич, говоря со старшими детьми об их долге по отношению к младшим, имел в виду главным образом Александра, на которого привык полагаться во всем. Эта вера возникла и укрепилась еще тогда, когда старший сын пошел в гимназию. Вообще, удивительным было положение Саши в кругу семьи. У всех детей, включая и Анну, он пользовался непререкаемым авторитетом. Володю даже вышучивали за то, что он на любой вопрос о своих желаниях много лет отвечал одними и теми же словами: «Я, как Саша». Но и отец с ма-

терью, убедившись в не по годам основательных суждениях Александра, частенько принимали его в свой разговор и прислушивались к мнению мальчика.

«Ко времени поступления в гимназию следующего брата,— рассказывает Анна Ильинична,— Саша — ребенок двенадцати лет — заявил с той решительностью, которой отличались все его редкие заявления, что не следует отдавать Володю в приготовительный класс, а надо подготовить его к первому. Брат Владимир начал, действительно, школу с первого класса; вероятно, отец с матерью и сами убедились, что лучше по возможности миновать хотя приготовительный класс, но заявление Саши имело, несомненно, значение».

Взрослея, Саша приобретал в глазах отца все больший авторитет. Юношей он сделался советчиком отца во многих семейных делах, да и не только семейных. Вот почему, задумываясь о старости, о преждевременной смерти, Илья Николаевич видел в Александре такую семейную опору, на которую можно спокойно положиться. Как же отнесся бы он теперь к сыну, своей крепкой надёже, после его безрассудного и ужасного решения? Об этом тоже мучительно было думать. А еще недавно во взгляде Ильи Николаевича Александр часто видел одобрение и даже нескрываемое восхищение.

Из книги Анны Ильиничны нам известен эпизод, связанный с поступлением Александ-

ра в Петербургский университет. В этом эпизоде ярко и выпукло отразилось многое: и уступчивость родителей, убежденных Александром в разумности его желания, и горячая благодарность сына, тут же щедро им оплаченная матери, а несколько месяцев спустя и отцу, и редкостная его настойчивость в соблюдении принятых на себя обязательств...

Словом, эпизод подобен той капле, в которой, по уверению поэтов, способен отразиться целый мир. В данном случае — мир семьи Ульяновых. А суть его в следующем.

Начало лета 1883 года. Сданы на круглые пятерки выпускные экзамены, получены усеянный похвалами «аттестат зрелости» и золотая медаль.

Рад был Александр, по свидетельству Анны Ильиничны, окончанию постылой гимназии чрезвычайно. Предстояло выбрать университет. Родители думали о Казанском, где учился в свое время Илья Николаевич. Казань была близка, в ней жили родичи, все-таки будет присмотр и заботливость о птенце, впервые выпархивающем из родимого гнезда. Александр решительно заявил, что выбрал Петербургский. Мария Александровна огорчилась, даль-то какая, чужой город, столица, и туда отпускать житейски неопытного юношу просто страшно. Материнское сердце будто чувствовало, что там, в холодном, сыром Санкт-Петербурге, с сыном приключится страшная беда.

Илья Николаевич не смог спорить с доводами сына. Конечно, в столичном университете наилучшим образом поставлено преподавание естественных наук, и со вздохом дал согласие. Марии Александровне пришлось смириться.

Александр растроганно поблагодарил родителей и сообщил, что на все лето договорился уехать в деревню к купцу Сачкову, обучать его отпрыска. Его вообще тяготило сидеть на шее у отца при такой большой семье, к тому же купеческие деньги были уже предназначены для Петербурга. Ведь Александр понимал, что жизнь в Питере значительно дороже казанской. И надо было както компенсировать эту разницу родителям, коль скоро они дали согласие на столичный университет.

Отец, видимо, это почувствовал, сказал, что в состоянии и его, и Анну, поступавшую на Бестужевские курсы, обеспечить скромным, но достаточным прожиточным минимумом. Александр все же настаивал на своем отъезде к Сачкову. Тут уж решительно воспротивилась мать, хотелось напоследок подольше удержать сына около себя. Он, скрепя сердце, вынужден был сдаться. Несколько дней ходил угрюмый, но больше ни звука не проронил — раз уж решено, то и говорить не о чем.

Илья Николаевич определил «прожиточный минимум» в сорок рублей каждому. Александр возразил: ему вполне достаточно тридцати. Отец все же стал посылать сы-

ну сорок, и упорствовавший сын, казалось, смирился. Но через восемь месяцев, приехав в Симбирск на летние каникулы, вручил удивленному и восхищенному отцу восемьдесят рублей.

В высшей степени интересны для характеристики Александра выводы, сделанные Анной Ильиничной из этой малозначительной на первый взгляд истории.

«...Такой факт из обыденной жизни, показывающий умение брать стойкие решения надолго и проводить их с неуклонностью, говорит о силе характера гораздо больше, чем иные прямо-таки героические решения на момент. Особенно изумительно это в семнадцатилетнем юноше, только что вылетевшем из семейного гнезда, непрактичном, не то что окруженном соблазнами — их он просто не замечал,— а долженствующем рассчитывать каждую копейку, каждый лишний кусок, чтобы не выйти из определенного себе бюджета. А он еще болел первую зиму в Петербурге возвратным тифом, после которого нужно усиленное питание, не говоря уже о сопровождающих болезни расходах на врачей и лекарства. Его же питанием, кроме обеда, служил обыкновенно один чай с хлебом. Наконец, сколько книг он охотно приобрел бы для своей работы!»

К выводам Анны Ильиничны надо прибавить еще один: Александр никогда не принимал решений, не обдумав их основательно. В этом сказывалось еще одно суще-

ственное свойство его натуры. Десять рублей, от которых он упорно отказывался, были названы тоже неспроста. Справедливо, семнадцатилетний новоиспеченный студент был непрактичен, точнее, не обладал еще собственным опытом самостоятельной жизни. Но ведь можно позаимствовать опыт чужой?

Летом в Симбирске легко было сыскать студентов, не один год учившихся в Питере. С их помощью ничего не стоило прикинуть минимальный бюджет питерского студента. А что Александр к ним обращался со своими бытовыми заботами, говорит хотя бы такой факт: еще до отъезда из Симбирска он выяснил, где дешевле и лучше селиться студенту в Петербурге, и, уезжая, он даже прихватил с собой адресок одной питерской хозяйки, сдававшей комнаты студентам. Правда, адресок оказался не совсем удачный: далековато от университета. Но через месяц, не более, Александр сумел обосноваться на Петербургской стороне, где селилась самая демократическая часть студенчества, где цены на комнаты были самые низкие,— у той самой «старозаветной старушки», которую вспоминала Анна в канун Нового года.

В его трехлетней самостоятельной питерской жизни нельзя сыскать шага, который был бы сделан необдуманно. Вообще, вряд ли сам Александр мог, порывшись в памяти, найти какой-либо существенный поступок, вызвавший своей поспешностью и не-

основательностью неодобрение Ильи Николаевича. Но вот теперь, когда он принял самое важное за всю жизнь решение, реакцией отца, несомненно, было бы гневное осуждение.

Мать... Ее образ немым укором, воплощенной мольбой неотступно стоял перед Александром. В тот самый миг, когда впервые явилась ему мысль о терроре, тотчас же пришла и мысль о матери, о горе, которое он, отдаваясь борьбе с царизмом, должен был неминуемо обрушить на ее голову. А он любил ее нежной, горячей любовью, вкладывал в это чувство весь пыл своего юношеского сердца. Эти последние наши слова нуждаются в пояснении.

У некоторых мемуаристов, писавших об Александре Ульянове, можно прочитать характеристику, из которой складывается впечатление, что он был по натуре человеком суровым и мрачным, замкнутым. Вот несколько таких примеров.

Историк, профессор Петербургского университета И. Гревс, учившийся в нем одновременно с Александром, отмечал, что «он был молчалив и сдержан, что-то было в нем будто суровое или меланхоличное». О суровом и часто даже мрачном выражении лица вспоминал академик Ольденбург.

Публицист В. Поссе, обращаясь к прошлому и вспоминая о собраниях научно-литературного студенческого общества, писал: «Там же появлялась изредка стройная фи-

гура замкнутого в себе молодого зоолога Александра Ильича Ульянова».

Такие люди обычно не склонны к горячим чувствам, им не свойствен сердечный пыл. Если прочитать письма Александра к родителям, главным образом к матери, за три года жизни в Петербурге (до нас дошло их около тридцати), то и они, казалось бы, говорят о том же.

«Милый папа! Благодарю тебя за присланные деньги и письмо».

«Милые папа и мама! Извините, что я немного запоздал с этим письмом».

«Merci, милая мамочка, за все присланное с Анютой».

«Милые мама и папа! Поздравляю вас и всех детей с праздником».

После такого начала шли сухие слова о себе, вроде: «Я совершенно здоров и живу по-прежнему». Или о каких-нибудь поручениях: «Нот, о которых просила меня Оля, я не мог купить, так как не нашел их нигде у букинистов». «Посылаю папе брошюрку «Математические софизмы», которую он желал иметь». В письмах нет, кажется, слова, в котором прорвалась бы нежность, дало о себе знать чувство разлуки с родным и любимым человеком. Нет этого даже в письме, где Александр склоняет перед матерью повинную голову: «Дорогая мамочка! Ты меня упрекаешь, что я редко пишу тебе; я, действительно, запоздал с последним письмом, совсем забыл про него, и оно пролежало несколько дней в кармане пальто.

Лекции у нас начались 15-го. Я записался только на обязательные...»

Можно подумать, что письма слал домой воспитанный, знающий свои сыновние обязанности, внимательный и заботливый, но холодный по натуре человек. По сути дела, так же примерно отзывалась о них Анна Ильинична: «Письма его были обычно кратки, сухо деловиты. В письмах он не умел и не любил выражать свои чувства».

О замкнутости Александра она тоже упомянула однажды в своей книге. Но к слову «замкнутый», как бы разъясняя его смысл, прибавила — «выдержанный». И это лишний раз дает нам возможность понять, насколько тонко она разбиралась в характере брата.

Замкнутый в себе человек — эгоцентрист. Для замкнутого в себе человека окружающая его жизнь как бы не существует и, следовательно, существенного интереса не представляет. «Все свое ношу с собой»,— сказал некий греческий мудрец, имея в виду, что истинным богатством человека является его внутренний мир. Александр, наоборот, был широко распахнут перед внешним миром. Проницательно подметил это Брагинский, сказав, что Ульянову пришлось жить в эпоху, окутанную «густою мглою общественной и политической реакции», однако «его глубокая вдумчивость, его необыкновенная чуткость помогали ему улавливать сильно приглушенные этою мглою, но все же доходившие до него голо-

са жизни». Все, кто считал Александра замкнутым, именно этим объясняли его обычную молчаливость в обществе, его немногословность, даже когда вокруг бушевал студенческий спор. На самом же деле он помалкивал потому, что было интересно знать мнение других. Желание и умение слушать собеседника, особенно когда он не согласен с тобой,— дар, не часто встречающийся. Александр обладал им в полной мере.

Нет, не замкнутым, а в высшей степени сдержанным в проявлении чувств и убеждений, «выдержанным», как сказала Анна Ильинична, человеком был Александр Ульянов. Его натура была подобна плавильной печи. Она жадно принимала «сырье» внешнего мира и расплавляла его на высоком градусе интеллектуального и эмоционального огня. Этот бурлящий и кипящий процесс оставался скрытым для многих, как скрыта для постороннего, непрофессионального взгляда работа стихий в недрах плавильного устройства. Лишь иногда, чаще всего в катастрофических случаях, стихия расплавленного металла вырывается наружу, делаясь зримой и для постороннего наблюдателя.

Такие «выбросы» бывали и у Александра. Но для того чтобы сквозь броню выдержки прорвался огонь его души, требовались какие-то исключительные обстоятельства. Прорвался он, например, когда Анна принесла известие, оказавшееся ложным, об аресте Салтыкова-Щедрина. Так было и во

время добролюбовской демонстрации, когда он чуть ли не с кулаками набросился на генерала Грессера. Так было, когда вся сила и трепетность его любви к матери вырвалась наружу при первом свидании с ней в тюремной обстановке.

Анна Ильинична, со слов Марии Александровны, рассказывала, что брат «плакал и обнимал ее колени, прося простить причиняемое ей горе». Александр был не только сдержан, но и стыдлив в проявлении своих чувств. Но этому исключительно сильному эмоциональному порыву не помешала даже фигура судейского чиновника, присутствовавшего при свидании.

Само собой разумеется, Марию Александровну никогда не обманывала сдержанность старшего сына. Она знала и чувствовала его горячую любовь. К тому же его чувство изредка все-таки приоткрывалось. В книге Анны Ильиничны есть об этом мимолетное упоминание, связанное с приездом Александра в Симбирск после первого года учебы в Питере: «Он уже поздоровался со всеми, его обступили меньшие. Но вот он снова повернулся к матери и крепко, с молчаливым горячим порывом обнял ее. Помню, с какой растроганной радостью отвечала на его объятие мать; ясно помню прекрасное, все какое-то светящееся выражение его лица».

Но теперь, когда он, решившись на самопожертвование, готовился нанести ей страшную, может быть, смертельную сердечную

рану,— теперь открыла бы она руки для материнского объятия или была бы так же сурова и непреклонна, как отец?

В любви Александра к матери, кроме естественного, с младенческих дней возникающего чувства кровного родства, таилось явившееся уже в пору юности восхищение ею как личностью, равно таилась и благодарность за формирование его собственной личности.

Илья Николаевич, часто находившийся в разъездах по губернии, загруженный многотрудными обязанностями директора народных училищ, не мог уделять много времени воспитанию детей. Эта семейная обязанность лежала главным образом на плечах Марии Александровны. Стесненный в средствах, ее отец, врач по профессии, мог дать дочери лишь домашнее образование. Но еще до замужества она сама сумела так пополнить знания и развить свои интеллектуальные потребности и вкусы, что была во всеоружии, когда настало время учить и воспитывать детей. Обремененная хозяйством, она все же ухитрялась отводить для этого вполне достаточное время. Каждого научила читать с малых лет, привила любовь к книге, заронила и развила любовь к музыке. Наконец, она разными способами, в том числе и собственным примером, укоренила в сознании детей моральные принципы, особенно главный из них — неукоснительно следовать велениям долга. И за это Александр был ей более всего признателен.

«...Все в семье (в том числе и Владимир Ильич),— писала самая младшая из Ульяновых, Мария Ильинична,— очень любили Александра Ильича и старались равняться по нему. Нравственный облик его был очень высок. Характерно, что, еще будучи мальчиком 11 лет, на вопрос старшей сестры: «Какие пороки самые худшие?» — он, не задумываясь, ответил: «Ложь и трусость»».

Сочинение на тему «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству» гимназист Александр Ульянов начал следующими словами: «Для полезной деятельности человеку нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твердость характера, 4) ум и 5) знание». Далее шло развитие и логическое обоснование выставленных им тезисов. Поражает в этом сочинении пятнадцатилетнего юноши не только зрелая система нравственных принципов, но и стройность изложения мыслей, чеканность формы, в которую они заключены. Все предельно ясно, убедительно и кратко, ни одного лишнего слова!

Александр был обязан матери еще и тем, что она привила ему, как и остальным детям, навыки к физическому труду. Целой школой таких навыков была для детей рождественская елка, самое заманчивое из всех зимних удовольствий.

Задолго до рождества под руководством матери все они, от мала до велика, принимались резать, клеить, красить, золотить и

серебрить — мастерить елочное убранство. Так уж было заведено Марией Александровной, что ничем покупным, кроме разноцветных свечей, не украшались разлапистые ветви дерева.

Эти трудовые навыки очень пригодились Александру в дальнейшей жизни. Сначала — при оборудовании кухоньки-лаборатории. Потом — в университете. Опыт, копившийся с детских лет, помог быстро освоить тонкое дело препарирования и микроскопического исследования кольчатых червей. Сослужит он службу и позже, когда Александр возьмется за изготовление динамита, а потом за работу еще более опасную — начинку оболочек бомб взрывчаткой, отравленными пулями и хитроумным запалом,— работу, где малейшая невнимательность, неловкое движение рук грозили катастрофой. Так, неожиданно и причудливым образом, материнское воспитание окажет помощь делу, в котором сын найдет свою погибель и, может быть, погубит мать. О таком исходе Александр не мог не думать, и было от чего мутиться рассудку.

«Я знала, что больше его не увижу,— рассказывала впоследствии сама Мария Александровна.— Не знаю, как пришла домой и легла. Чувствовала, что жить больше не могу, нет силы жить. Никаких мыслей в голове, одно желание скорее, скорее умереть, чтоб ничего не чувствовать».

Согласимся еще раз с Анной Ильиничной: более всего удерживала Александра от тер-

рора мысль о матери. Но тут же следует сказать, что его решение стать на путь революционной борьбы, сделаться участником террористического заговора возникло не без влияния отца и особенно матери. И опять-таки в этом нет и следа парадоксальности.

Как понять удивительную семью Ульяновых? Как объяснить тот факт, что у родителей — людей свободолюбивых, но далеких от революционных идей — все дети, кроме рано умершей Ольги, связали свою судьбу с революционным движением?

Известны случаи, их было немало, когда сыновья и дочери богатых дворян-помещиков или крупных чиновников царской администрации уходили в революцию, становились, в частности, террористами. Такова, например, была Софья Перовская, дочь генерала, петербургского губернатора. Но в таких случаях между родителями и детьми шла глухая борьба, дети противились родительскому воспитанию, поднимали бунт, на родительские проклятья отвечали разрывом, уходом из семьи. Ничего этого и в помине не было в семье Ульяновых. И не случайно не было. Воспитательные принципы Ильи Николаевича и Марии Александровны сами по себе не направляли детей на революционную дорогу. Однако в сочетании с определенными воздействиями общественной жизни они сильно способствовали тому, что дети избирали именно эту дорогу. Принципы воспитания были почвой, на которой

семена революционных идей всходили легко и давали богатый урожай, а семена поставляла сама действительность — угнетение и бесправие народа в условиях оголтелой реакции, исключавшей не только политическую пропаганду, но и элементарное просвещение народных масс.

Когда одиннадцатилетний Саша, отвечая на вопрос сестры, говорит, что худшие из пороков — ложь и трусость, тут сказываются принципы воспитания. А когда студент Александр Ульянов приходит к мысли о необходимости революционной борьбы, такая нравственная заповедь служит революционной закалке.

Если бы Илья Николаевич был в живых, когда Александр сделался террористом, если бы у него произошел об этом разговор с сыном, то на его гневную отповедь сын, как всегда спокойно и рассудительно, наверно, ответил бы: «Вы оба с мамой приучали меня с детских лет правилу — не уклоняться от исполнения своего долга». Он напомнил бы отцу, как тот, повинуясь им самим установленному долгу, пожертвовал любимым делом — преподаванием и стал организатором и администратором школьного дела. На возможную реплику отца, что террор, убийство человека, пусть даже тирана,— поступок ужасающе безнравственный, а безнравственное дело не может быть долгом, Александр, не споря, сказал бы отцу, что именно он всегда приучал его уважительно относиться к чужим мнениям, как бы они

ни отличались от собственных. И даже напомнил бы отцу, сколь деликатно поступил тот, когда сын, разуверившись в религиозном учении, отказался от устоявшейся традиции ходить вместе с отцом по субботам в церковь ко всенощной службе. Отец, позвав Александра еще раз или два после первого отказа, больше о церкви уже не заговаривал.

Читатель может подумать, коль скоро этот спор написан в условном наклонении, что тут автор ударился в «художественную фантазию». Отнюдь нет! Суть спора можно найти в книге Анны Ильиничны. Приведем только два маленьких отрывка.

«Огромным фактором в воспитании было то, что отец являлся не чиновником, как подавляющее большинство служащих того времени,— писала Анна Ильинична,— а идейным работником, не жалевшим трудов и сил на борьбу за свои идеалы. Дети... рано научились понимать, что дело — это нечто высшее, чему все приносится в жертву».

Именно в этой домашней науке Александр обрел силы, чтобы в жертву террору принести не только науку, но даже и семью. Плача, обнимая колени матери на свидании в тюрьме, умоляя простить причиняемое ей горе, он говорил, что «кроме долга перед семьей у него есть долг и перед родиной». «Он рисовал бесправное, задавленное положение родины,— писала Анна Ильинична со слов матери,— и указывал, что долг каждо-

го честного человека бороться за освобождение ее.

— Да, но эти средства так ужасны! — возразила мать.

— Что же делать, если других нет, мама? — ответил он».

Заметьте, читатель, Мария Александровна не спорит с тем, что предпочтение отдано долгу перед родиной, не перед семьей. Оно и понятно. В таких именно нравственных правилах воспитывались дети. Но для нее неприемлемы, ужасны средства, коими сын собирался достичь намеченной цели. Других же она предложить не могла.

РАЗГОВОР, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ ВСЮ ЖИЗНЬ

Итак, идея цареубийства носилась в воздухе.

Но одно дело идея. О ней нетрудно поболтать с надежным товарищем, даже проявить при этом пылкие эмоции, а дальше не сделать и шагу, чтобы превратить ее в дело. Александру доводилось решительно осаживать людей, которые в подпитии, а то и в трезвом состоянии пытались предаваться террористической маниловщине. Дальнейших встреч с ними Александр старался избегать. Даже не только потому, что опасался провокации или настороженного царева уха. Его характеру была просто несносна всякая праздная болтовня, а на такую тему — тем более.

Совсем иное — реализация идеи. Террор требовал осмотрительных поисков единомышленников. Можно было нарваться на трусливую душонку, которая при малейшей тревоге станет доносительствовать. С другой стороны, можно поставить в неловкое положение порядочного человека, которому, оказывается, чужда идея террора. Чего доброго, он тебя самого заподозрит в осведомитель-

ской деятельности. Как ни был зелен террорист Ульянов, эту азбуку он понимал.

Террор требовал настойчивой, небезопасной слежки за царем, все еще остерегавшимся покидать стены Гатчинского дворца. К этой стороне дела Александр просто не знал, как подступиться. Наконец, террор требовал сложной материальной подготовки — поисков денежных средств, квартир, где было бы удобно и безопасно готовить и хранить изготовленные бомбы или иные средства, пригодные для покушения.

В уме все складывалось в отчетливый план, а как приступить к его реализации? Между тем у Александра идея, заманчиво требующая реализации, и, вообще говоря, любое слово, в том числе слово, данное самому себе, немедленно, так сказать, в принудительном порядке, заставляли действовать практически. Если уж двинулось зубчатое колесо террористической идеи, то должна была прийти в движение и вся зубчатка практической подготовки террористического акта. Но прошел целый месяц в бесплодных попытках поставить замысел на деловую почву. Все решил случай.

Во второй половине декабря — более точно определить время невозможно,— когда на квартире у Александра, в отсутствие Чеботарева, был Орест Говорухин, зачастивший к нему после добролюбовской демонстрации, явился студент Петр Шевырев. Он тоже с этого времени стал частым гостем в квартире Ульянова и Чеботарева. Завязавшийся

между ними разговор сначала был, как говорится, о том, о сем, а в общем-то ни о чем. Затем, внезапно для каждого из участников и словно по крутой наклонной плоскости, скатился к террору. Однако, прежде чем воспроизвести разговор, коренным образом изменивший жизнь Александра Ульянова и сосредоточивший всю его огромную энергию на реальной подготовке террористического акта, необходимо представить читателю двух его собеседников — Говорухина и Шевырева.

Орест Говорухин, однокурсник Александра, был в это время, как и адмиральский сын студент Сергей Никонов, самым близким товарищем Ульянова. Месяц, истекший со дня добролюбовской демонстрации, сблизил Говорухина с Ульяновым настолько, что никаких секретов политического характера между ними не было. Вели разговоры и о терроре, но, так сказать, принципиального характера — целесообразен ли террор вообще, при каких условиях его полезность несомненна. Поскольку они вместе принялись изучать марксистскую литературу, теоретическая сторона дела вызывала жгучий интерес. К тому же Говорухин, так же как Ульянов, не располагал ничем, что могло бы поставить идею террора на рельсы практической деятельности.

В террористической организации судьба Говорухина сложилась своеобразно. Он был сразу же включен в руководящую группу участников заговора. (Шевырев, что для него характерно, именовал ее «центральным

кружком», хотя никакой «периферии» и вообще никаких других участников на первом этапе организации не было.) Кончил же Говорухин свое участие в заговоре побегом за границу почти накануне первого выхода бомбометателей на Невский.

В мемуарной литературе нельзя найти никаких следов личного участия Говорухина в подготовительной работе террористической группы. Нет их фактически и в реферате, который он вскоре после появления за границей прочитал перед революционерами-эмигрантами, и в воспоминаниях, написанных и опубликованных через сорок лет на страницах журнала «Октябрь». Однако и в реферате, и в «Воспоминаниях о террористической группе А. И. Ульянова» Говорухин все время ведет рассказ так, что его фигура выступает на передний план. Между тем на самом деле роль его в группе была незавидная, а мемуары не лишены серьезных противоречий и не отличаются строгим обращением с фактами. Никонов и Анна Ильинична показали это, когда резко критиковали и статью Говорухина в «Октябре», и редакцию журнала за ее публикацию без тщательной проверки.

Анна Ильинична не питала к Говорухину добрых чувств. Она и не скрывала этого в своей книге. Поэтому кое-что в его характеристике надо отнести за счет антипатии. Однако ее общая оценка ближайшего товарища брата была вполне объективной.

Не жаловала она в своих воспоминаниях

похвалами и Петра Яковлевича Шевырева. Ей были несимпатичны некоторые особенности внешнего поведения последнего: раздражающая суетливость, быть может, объяснявшаяся болезнью, острым туберкулезным процессом в легких, его манера часто смеяться заливистым, высоким хохотом, его любовь «трещать по пустякам». Но, конечно, в основе ее неприязни лежало справедливое осуждение отъезда Шевырева из Петербурга в Ялту за восемь дней до первого выхода метальщиков и сигнальщиков на Невский проспект. Он уехал скоропалительно, ссылаясь на обострение болезни, и свалил дело, которым руководил, на плечи Александра, даже не ознакомив с тем, как подготовлен с организационной стороны террористический акт, кто и за что в группе ответствен. Наконец, готовя к публикации сборник документов, хранившихся в архивных делах департамента полиции и охранки, Анна Ильинична окончательно убедилась, что шевыревский характер сыграл трагическую роль в судьбе террористической группы.

Петр Шевырев, близко сойдясь с Лукашевичем, однажды признался ему, что он перевелся из Харьковского университета в Питерский не по соображениям лучшей постановки здесь преподавания естественных наук. Им руководило намерение организовать покушение на жизнь Александра III. А где же легче его осуществить, если не в столице? Надо думать, Шевырев говорил с Лукашевичем как на духу, потому что тут же спро-

сил Лукашевича, не согласится ли тот принять участие в таком деле.

Лукашевич ответил согласием. Он и сам подумывал о террористическом акте. У него даже разработана конструкция бомбы, по внешности ничем не отличающаяся от толстой книги. Кое-какие соображения созрели и по поводу того, как улучшить запал, сконструированный народовольцем Кибальчичем. Шевырев в свою очередь поделился соображениями о том, как он думает подбирать людей, пригодных для участия в террористической деятельности. Для этого надо создать такие общественные студенческие предприятия, например дешевую столовку, где бы люди встречались охотно и ежедневно, сближались бы, проникались товарищеским доверием друг к другу. Эти организации сыграли бы роль надежного сита для отбора будущих членов террористических групп.

Шевырев говорил именно о группах, а не об одной. В его планы входило намерение создать такие группы не только в Питере, но и в Москве, Харькове... Словом, мыслилась мощная и разветвленная организация. Шевырев говорил об этом так горячо и вместе с тем так деловито, что Лукашевич с первого откровенного разговора уверовал в его организаторский талант. Даже после выхода из шлиссельбургского заточения, когда ему стали уже известны многие обстоятельства, приведшие к провалу их первой и единственной группы, он писал в своих воспоминаниях о Шевыреве: «Это был очень энергичный,

предприимчивый и талантливый организатор». Между тем Шевырев на самом-то деле был по своей природе не организатором, а типичным инициатором. Он действительно с жаром брался за какое-нибудь предприятие, быстро пускал его в ход и вскоре, охладев, сбывал в чьи-то руки, а сам устремлялся к следующему. Эта черта его непоседливого характера, как увидит дальше читатель, была одной из главных причин гибели террористической группы.

Вернемся теперь к разговору, который вели Шевырев и Говорухин с Ульяновым в квартире последнего. Будем и здесь придерживаться документальной основы. Ею послужит запись беседы, сделанная Говорухиным по горячим следам, в заграничном реферате, написанном вскоре после полученного известия о казни основных участников заговора. Запись эту Говорухин перенес и в свои воспоминания, опубликованные в журнале «Октябрь».

Шевырев разговор о пустяках перевел на любимую им тему — организацию студенческих предприятий, подобных кассе взаимопомощи, столовой, уютной библиотеке с читальней, где свежие газеты и журналы, а для некоторых особо надежных — запрещенные издания, привлекали бы студенческую массу.

Александр, испытывая скуку, деликатно прервал его разглагольствования. Тоном, в котором чувствовались легкая досада и недоумение, сказал:

— Охота вам, Петр Яковлевич, тратить вашу неуемную энергию на такие мелочи. С вашим организаторским талантом можно было бы устроить кое-что поосновательнее.

Шевырев помолчал, потом, остро взглянув на Ульянова, спросил:

— А что, например?

Этот взгляд Шевырева, притушенный сейчас же словами, в которых как будто не содержалось ничего, кроме простого любопытства, был для Александра словно толчок. Неожиданно для себя он сказал:

— Да, например, покушение.

Две-три секунды в комнате стояла тягостная тишина, точно все в ней застыло в напряженном ожидании. Потом раздался заливистый хохоток Шевырева. Откидываясь на спинку дивана и все еще похохатывая между словами, он бросил:

— Где уж нам уж... выйти замуж. Я довольствуюсь столовой, кассами и прочими мелочами... Покушение!.. Куда там!.. Из меня террорист, как из мякины сдобная булочка...

Шевырев балаганил, Александр и Говорухин поняли это, но по-разному: Говорухин не углядел досады, может быть, даже обиды в паясничании Шевырева; Александру, напротив, сразу же стала ясной горечь шевыревских слов. Резко оборвав хохот, Шевырев сказал:

— Ну, ладно. Вы подбивали меня на откровенность. Стало быть, я тоже имею право задать откровенный вопрос и ждать откро-

венного ответа. А у вас есть дело? Есть организация?

Александр, удержав жестом Говорухина, рассеял шевыревскую обиду. Он сказал:

— Нет, Петр Яковлевич. У нас дела, к сожалению, нет. Но и не в шутку было сказано о покушении.

— Тогда я еще спрошу. А вы оба?.. Если бы я сказал, что дело есть, есть организация, вы оба согласились бы войти в нее? Признаться, не первый день хочется мне задать вам этот вопрос.

Ульянов и Говорухин были ошеломлены.

Шевырев понял это, на его губах появилась легкая, с оттенком ехидства улыбка. Выдержав паузу, он сказал:

— Я не ошибаюсь, видимо, в вашем сочувствии. Но дело серьезное. Давайте поступим так. Обдумайте недельку-другую и тогда дайте мне окончательный ответ... Послушайте еще вот о чем...

И он тоном, в котором проскальзывали менторские нотки, принялся объяснять, что подготовка покушения может быть расчленена на четыре вида деятельности. Во-первых, доставка сведений о царе, его привычках, распорядке жизни, особенно — о его выездах из дворца, маршрутах и так далее, а также организация систематической слежки за ним. Во-вторых, добывание денежных средств. В-третьих, технические работы, то есть изготовление метательных снарядов. В-четвертых, организация метальщиков и сигнальщиков.

«Когда он предложил нам первую категорию работ, мы стали в тупик,— писал Говорухин.— Всем было известно, как остерегался Александр III, как он изменял планы своих поездок и как вообще держалось в секрете все, что касалось жизни царя. Когда мы высказали Шевыреву, что эта задача для нас трудна, почти невыполнима, он заметил: «Да, для вас! Я этого ожидал». Затем он предложил нам обдумать относительно работ третьей и четвертой категорий. Мы согласились, и он ушел».

Александр и Говорухин, обсуждая между собой неожиданное предложение Шевырева, решили, что на второй встрече они прежде всего должны расспросить Шевырева подробно, что собой представляет группа или организация, куда им предложено войти. Кто в нее входит, каковы конкретно ее планы.

Шевырев вторично встретился с Ульяновым и Говорухиным через неделю. На этот раз он держался несколько иначе. И речь его, и поведение как бы говорили: это я приглашаю вас в свою организацию, это мне принадлежит в ней место главного организатора и руководителя, следовательно, за мной и право направлять беседу. Однако Александр перехватил инициативу и задал подготовленные вопросы.

Шевырев начал с планов. Говорил охотно и даже многословно.

— Прежде всего, главный принцип. Единичный террористический акт, даже если он

направлен на царя, ощутимых результатов не принесет. Нужен систематический террор.

— Это и наше убеждение,— одобрительно сказал Александр.

— Поэтому мы намерены,— продолжал Шевырев,— осуществить серию покушений. Разумеется, прежде всего на вашего венценосного тезку, Александр Ильич. Затем на министров, на идейный оплот реакции — Победоносцева и Каткова, на великих князей Владимира и Николая, на наследника...

Александр не удержался от реплики:

— И на все это грандиозное предприятие у группы есть реальные силы? Кто же ее участники?

Шевырев посмотрел на него с подчеркнутым недоумением. Снисходительно объяснил:

— У нас порядки в организации строгие. Каждый знает только то, что необходимо для выполнения порученной ему работы.

Александр продолжал настаивать:

— Дело-то, Петр Яковлевич, такое, что может стоить жизни. А вы хотите, чтобы мы вошли в него с завязанными глазами.

Шевырев взял из стопочки бумаги, лежавшей у Александра на столе, листок, прихватил карандаш и написал: «А. А. А. ... металльщики — сколько угодно, Б. Б. Б. ... сигнальщики — сколько угодно, В. В. В. ... химики — и их сколько угодно». На словах добавил:

— Денежных средств тоже сколько угодно.

— Извините, Петр Яковлевич,— сказал, помрачнев, Александр,— но при таких условиях я, к глубокому моему сожалению, не считаю возможным войти в организацию.— Он повернулся к Говорухину.— А ты, Макарыч?

Говорухин кивнул головой. Шевырев развел руками, как бы говоря: «На нет и суда нет». И поднялся.

— Подождите,— сказал Александр.— Мы оба глубоко сочувствуем вашему начинанию. Мы и сами подумывали о том же. Дайте нам еще несколько дней для размышления... скажем, три.

Шевырев согласился и ушел.

Александр сказал Говорухину:

— Попытаюсь за три дня что-нибудь разузнать.

Он задумался. Как-то не верилось, что у него, можно сказать, под боком существует могучая, явно студенческая, организация, а он, тесно связанный с активной частью студенчества, ухитрился ее проморгать.

Угадывая его мысли, Говорухин решительно произнес:

— Чего там! Обычная шевыревская мистификация. Любит Петр Яковлевич пустить пыль в глаза... А проверить как?

Александр думал о Лукашевиче, ближайшем друге Шевырева. Последнее время, часами работая бок о бок в университетских лабораториях, Александр и Лукашевич

сблизились настолько, что стал возможен откровенный разговор. Неужели Лукашевич ничего не скажет?

Александр в Лукашевиче не ошибся, и выяснилось, что мощная организация, якобы готовящая десяток-полтора террористических актов, состояла из... трех человек — Шевырева, Лукашевича и еще одного студента, который перевелся в Петербургский университет из Казани с единственной целью — совершить единолично покушение на Александра III. Впоследствии оказалось, что им был Василий Осипанов. Ему, человеку мужественному, как бы рожденному для террористической борьбы, выпала ответственная роль — быть во главе метальщиков.

Ульянов и Говорухин решили: в группу не входить, однако и не отказываться от выполнения отдельных поручений. Но компромисс этот быстро превратился в фикцию. Уже в середине января влияние Александра на дела группы, его авторитет возросли настолько, что фактически он оказался вторым после Шевырева лицом среди участников заговора. Когда в группе возникли трения и даже конфликты, он оказался в роли арбитра, с мнением которого Шевырев был вынужден считаться. 17 февраля, в день отъезда Шевырева в Ялту — отъезда, который впоследствии и Говорухин, и Сергей Никонов справедливо назовут бегством,— Александр Ульянов уже формально стал единоличным руководителем террористического заговора.

Трудно понять непростительный поступок Шевырева. Его нельзя оправдать обострившимся туберкулезным процессом — до выхода метальщиков оставалось девять дней, и, как бы ни был болен Шевырев, за этот срок ничего катастрофического с его здоровьем случиться не могло. Трусость, попытка улизнуть от ареста, виселицы? И это объяснение, на наш взгляд, невозможно признать правильным. Шевырев был человеком смелым, обладавшим незаурядной волей, что и доказал в минуту такого испытания, как казнь. Если бы он намеревался бежать, как Говорухин, спасая свою жизнь, то ему, при его предприимчивости, это было бы по силам. В Крыму нашлись бы контрабандисты, чтобы морем доставить Шевырева куда-нибудь за пределы досягаемости карающей руки царского правительства. Гадать не имеет смысла. Гораздо важнее указать, что дело, неожиданно сброшенное им на плечи Александра, зияло далеко не одной серьезной организационной прорехой и все они были вызваны единственной причиной — непригодностью Шевырева как организатора. По крайней мере в качестве организатора такого сложного и тонкого дела, как террористический заговор.

Жестоко ошибались и жестоко поплатились те, кто, участвуя в заговоре, верили в его организаторский талант. Нельзя признавать такой талант за человеком, который не умеет подбирать для дела людей и тщательно испытывать их пригодность, не может

создать атмосферу для дружной работы. Отсутствие у руководителя таких качеств неминуемо ведет к провалу. И это лишний раз подтвердила трагическая судьба Александра Ульянова и его товарищей, в том числе и самого Шевырева...

Посмотрим, кого привлек в свою «обширную» и «строго законспирированную» организацию Петр Шевырев.

Двое метальщиков — Пахом Андреюшкин и Василий Генералов — были рекомендованы ему Говорухиным и Ульяновым и вели себя во время следствия и суда так же безупречно, как бестрепетно отдали свои головы в руки палача. Лукашевич, главный химик и конструктор метательных снарядов, этот Кибальчич вторых «первомартовцев», столь же был отыскан Шевыревым, как и последний был отыскан самим Лукашевичем. Никонова привел в группу Ульянов. Третий метальщик, Осипанов, оказался в числе заговорщиков, можно сказать, случайно. Шевырев и Лукашевич пытались вовлечь в дело студента Зверева. Тот решительно отказался, но назвал им фамилию Осипанова.

Шевырев привлек в группу лишь трех человек. Все они никогда и не помышляли о терроре. Более того, им была абсолютно чужда сама идея революционной борьбы. Один из них, расторопный Канчер, являлся правой рукой Петра Яковлевича по управлению студенческой столовой. Слабовольный, трусливый, послушный во всем Шевыреву,

он, подавляемый напористой волей последнего, согласился участвовать в подготовке покушения, полагая, как потом говорил на суде, что дальше разговоров дело не зайдет. Тем же манером был притянут к заговору Горкун, студент, живший в одной квартире с Канчером. Но поистине фантастическим персонажем являлся среди участников заговора некий Волохов. 1 февраля, по совету Канчера, он, исключенный за полную неуспеваемость из гимназии родного города, приехал в столицу, чтобы доучиваться в частной гимназии, куда принимали любого оболтуса, если тот готов платить немалую мзду за обучение. На первых порах жизни в Питере Волохов ночевал у Горкуна и Канчера. И вот Шевырев, трижды мельком видевший у них Волохова, не задумываясь и никак не проверяя его сам, накануне отъезда в Ялту поручает Канчеру вовлечь этого тупого юношу в группу на роль сигнальщика.

Повторяем, Шевырев был искренним революционером. Единственной причиной — причиной подлинной, невыдуманной, заставившей его перевестись в столичный университет, было намерение организовать покушение на царя. В университете он фактически не учился. Вся его энергия сосредоточилась на организации столовой, кассы взаимопомощи, а затем и заговора. Он был смел и решителен, был удачлив и изобретателен как зачинатель всех своих предприятий, но быстро к ним охладевал. Как организатор и руководитель террористической группы, он

стал ее злым гением. Сигнальщики, найденные им, ревностно выполнили свою роль, но лишь... в охранке «просигналив» с первой же минуты первого допроса все, что требовалось следствию.

Повинен был Шевырев перед товарищами и в действиях, справедливо названных «нечаевскими». Чтобы было понятно, напомним читателю, кто был Нечаев.

Заговорщик авантюристического пошиба, Сергей Нечаев придерживался следующего нравственного принципа: революционеру дозволительно все: ложь, обман, шантаж, угрозы, применимые не только к врагам, но и к товарищам по революционной борьбе. Все, вплоть до убийства, которое он и совершил однажды; все — благо, если делается для блага революционных целей.

У Пахома Андреюшкина был друг, земляк студент Рудевич, который, частенько посещая его квартиру, случайно сделался помощником в приготовлении азотной кислоты. Сначала он думал, что участвует в студенческих химических упражнениях Пахома. Потом, из признаний последнего, выяснил, что помогал готовить сырье для динамита. Андреюшкин не скрыл и того, что состоит в террористической группе, что ему предназначено быть одним из метальщиков бомб. Рудевич возмутился таким вероломством товарища. Андреюшкин, оказавшись в трудном положении, обратился к Шевыреву. Тот решил сам урегулировать конфликт. Он встретился с Рудевичем и в

ультимативной форме предложил продолжать изготовление кислоты, пригрозив, что в противном случае группа вынуждена будет «сплавить» его. Тогда возмутился Андреюшкин и, спасая друга, обратился за помощью к Ульянову. Александр Ильич, писал Говорухин, протестовал против этого «нечаевского» способа действий и убедил Шевырева отправить Рудевича, если последний этого пожелает, за границу. Шевырев уступил Ульянову, даже достал нужные средства для бегства Рудевича.

Приблизительно в это же время Александр стал склоняться к убеждению, что подготовка к покушению идет плохо, в недопустимой спешке, вызванной скорым отъездом царя в Крым на все лето, и предложил Шевыреву отложить покушение на осень.

«Как, откладывать? — запротестовал Шевырев.— Да ты, Ильич, уверен, что тебя завтра не возьмут? А я? Да кто из нас может поручиться, что он проживет до осени? Далее, если слабый попадется правительству да проговорится, тогда всем нам конец. А за что? За хотение? Будь что будет, но вперед!»

Мы привели эти строки из воспоминаний Говорухина, не сомневаясь, что они точно передают факты.

Все решила позиция метальщиков. Они поддержали Шевырева. Их голос имел огромный вес, так как всем было ясно, что они-то идут на верную смерть, тогда как

остальные все же имеют хоть маленький шанс скрыться. Александр, вообще привыкший не отступать от дела, за которое брался, вынужден был смириться, хотя и предвидел, что покушение почти обречено на провал.

Когда Шевырев уехал, Ульянов энергично взял бразды правления в свои руки, одновременно продолжая помогать Лукашевичу в изготовлении динамита, гремучей ртути, отравленных пуль, вместе с ним испытывал за городом запалы и начинял оболочки бомб взрывчатым веществом. Но он не знал, да и не мог знать, какая страшная беда уже нависла над всей группой.

Генералов был человеком стойким и мужественным. Его тревожила лишь одна мысль: он боялся промахнуться, бросая бомбу в царскую карету. Осипанов удивлял всех необыкновенной выдержкой и трезвым, расчетливым подходом к делу. Иным по характеру был Андреюшкин.

«Андреюшкин, — писал Говорухин, — по внешности напоминавший сурового казака Тараса Бульбу, проявлял, однако, некоторую сентиментальность. Он иногда заходил к моей соседке Шмидовой и по ее просьбе мастерски пел за душу хватающим голосом малороссийские песни. Слушая его песни, я удивлялся тому богатству чувств, которые таились в этом на редкость мужественном человеке. Как известно, этот сентиментализм Андреюшкина привел к провалу всего дела, к неудаче покушения».

Но то, что Говорухин именует «сентиментализмом» Андреюшкина, на самом деле было чудовищным легкомыслием, вызванным чисто ребяческой похвальбой. Судите сами, читатель. 20 января 1887 года Андреюшкин послал письмо харьковскому студенту Ивану Никитину, в котором содержались такие строки: «...Возможна ли у нас социал-демократия, как в Германии? Я думаю, что невозможна; что возможно — это самый беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет и даже не в продолжительном будущем... Исчислять достоинства и преимущества красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как он мой конек...»

Петербургский «черный кабинет», ведавший перлюстрацией писем, отослал письмо Андреюшкина адресату, а копию — в департамент полиции, который, поскольку подпись в письме была неразборчива, предложил 28 января начальнику жандармского управления Харьковской губернии установить, допросив Никитина, кто автор письма. Лишь через месяц, 27 февраля, после вторичного запроса, был получен ответ. Он гласил: автор письма — студент Петербургского университета Андреюшкин. С этого момента и началась слежка, которая закончилась 1 марта арестом всех метальщиков и сигнальщиков в день их третьего выхода на Невский проспект.

Письмо Никитину было не единственным, где Андреюшкин горделиво сообщал о сво-

ей причастности к террору. Два таких письма, частично писанных «симпатическими» чернилами, получила екатеринодарская народная учительница Анна Сердюкова, жестоко за них расплатившаяся на суде вместе с террористической группой. Как знать, если бы не этот эпистолярный зуд Андреюшкина, третий выход метальщиков мог бы завершиться их успехом.

1 марта с утра Ульянов и Лукашевич нетерпеливо и долго ждали вестей. В городе царило спокойствие. Александр понял, что покушение, по-видимому, не состоялось и что товарищи, вышедшие на Невский, схвачены полицией. Все ли? Кому-то, может быть, удалось избежать этой участи, скорее всего сигнальщикам. Александр Ильич попросил Лукашевича пойти в студенческую столовую, выяснить что-нибудь там. Сам же пошел на квартиру Канчера.

Неужели ему не пришла в голову простая мысль, что в квартире оставлена засада? По нашему убеждению, Александр понимал это и шел на встречу с полицией сознательно. Отвечая позже на вопрос судейских чиновников, почему он не последовал примеру Шевырева, скрывшегося в Ялту, или Говорухина, бежавшего за границу, Александр сказал: «Я не хотел бежать, я хотел умереть за несчастную родину».

В квартире Канчера на него навалилась орда трусливых полицейских, опасавшихся, что этот террорист, не дай бог, пустит в ход метательный снаряд.

День ареста и следующий прошли в томительном ожидании допроса, но Александр провел их не попусту. Он приводил в порядок свои мысли. Кусочек жизни, который был еще в его распоряжении, он должен прожить разумно и с наибольшей пользой, в последней и посильной, при создавшихся условиях, борьбе все с тем же врагом, самодержавием, которому не удалось нанести даже царапины.

Разумность требовала тщательно приготовиться к единоборству со следствием, а затем и судом. Польза мыслилась, во-первых, как облегчение участи товарищей. Коечто он может и, следовательно, должен сделать на допросах, беря на себя всю ответственность за организацию покушения. Во-вторых, он обязан с возможной полнотой осветить перед следствием и, особенно, на суде политический смысл заговора. В этом он всегда расходился с Шевыревым, как только заходил разговор о возможности оказаться в руках полиции. Шевырев... Где-то он теперь? Будут ли его искать? Если все же и на него пало подозрение, найдут ли?..

Шевырев упорно занимал странную позицию. Он был решительно против того, чтобы на суде, если не удастся его избежать, группа выступила с каким-то программным заявлением. Народовольцы, говорил он, сказали на своем процессе все, что нужно. Лучше их не скажешь. Да и зачем метать бисер перед свиньями? Ведь на суде, кроме судейских и иных царских чиновников, никого не будет, и все слова будут похоронены в стенах судилища. А на следствии надо отказываться от всего. И вообще стараться выглядеть жалкой кучкой легкомысленных студентов, а не серьезным противником царского правительства.

Возражая Шевыреву, Александр был не в одиночестве. Его поддержали и Лукашевич, и Никонов, и Говорухин. Обсуждалась и кандидатура — кто должен выступить на суде с программным заявлением от имени группы? Лукашевича сразу же признали непригодным для такой роли. Его польское происхождение могло дать правительству повод объявить заговор делом рук польских патриотов, их ответом на жестокие царские репрессии в Польше. Александр предложил поручить эту роль Никонову, считая, что он лучше всех остальных ее выполнит. Никонов долго отказывался, говорил, что после таких великолепных речей, как речь Мышкина, Желябова, Веры Фигнер, его выступление будет детским лепетом.

Никонова все же убедили... Где-то он теперь? Удалось ли следствию доказать его

связь с тайными офицерскими кружками, которые были раскрыты в январе? Может быть, до сих пор мытарят на допросах? Или куда-то уже успели прочно и надолго упрятать?

Как видно, теперь ему, Александру, выпадает задача выступить с программной речью. Свои ораторские способности он оценивал скромно. Но было и одно преимущество — программу писал он. После длительного обсуждения на группе она как-то сразу сложилась у него в голове, и, выйдя в другую комнату, он написал ее в один присест, так быстро, что все потом удивлялись и единодушно одобрили. Она прочно отпечаталась в памяти, но все-таки будущую речь надо основательно обдумать.

Кто же, однако, арестован? Все ли шесть человек, выходившие на Невский? Как они держатся? В метальщиках он не сомневался. А сигнальщики?.. В их стойкости отнюдь не был уверен. И не ошибся: именно в результате их предательства в ночь на 3 марта в Петербурге был арестован Лукашевич, 7 марта в Ялте — Шевырев и даже припутаны к делу ни в чем не повинные люди.

3 марта Александр был вызван на первый допрос. Допрашивал жандармский ротмистр с фамилией, точно специально подобранной к его служебным обязанностям, Лютов. Когда записали ответы на чисто формальные вопросы — имя, отчество, фамилия, возраст, семейное положение и т. д.,

Лютов предъявил Александру обвинение в «покушении на жизнь священной особы, его величества, государя императора Александра III и прочел выдержки из показаний Канчера, в которых раскрывалась вся деятельность группы, а ему, Александру, отводилась руководящая роль.

Откровенные и в высшей степени важные для следствия показания Канчера ошеломили Александра настолько, что он не сразу нашелся...

После красноречивой паузы в протоколе допроса было записано:

«На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь государя императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».

Лютов, вероятно с ехидной улыбочкой, не без расчета «уважил» просьбу и приказал увести подследственного в его одиночную камеру. (Жандармский следователь знал, что при таких обстоятельствах мучительные раздумья в одиночке почти всегда расшатывают волю подследственного, а то и вовсе лишают способности к сопротивлению.)

Да, недавний «студент Ульянов» именовался теперь «подследственным Ульяновым», скоро его переименуют в «подсудимого Ульянова», а затем, уже навечно, назовут «казненным преступником Ульяновым». Но, вернувшись в одиночку, Александр думал не об

этом. Его борьба со следствием сильно упрощалась в том смысле, что отрицать наличие заговора было уже нелепо. Но она и усложнялась. Канчер, несомненно, оговорил и всех остальных арестованных. Можно не сомневаться, что так же поступил и Горкун, да и Волохов. В этих условиях было гораздо труднее защищать товарищей. Оставалось одно — отказываться от каких-либо показаний на их счет вообще, а все, что раскрыто Канчером, не отрицать, но относить по возможности на свой собственный. Этой тактики он и придерживался в дальнейшем ходе следствия и на суде.

4 и 5 марта Александр подробно рассказывал следователю о своей деятельности в группе — о приготовлении им динамита, отдельных частей метательных снарядов, пуль-жеребеек, изготовленных из кусочков листового свинца и начиненных стрихнином, о набивке снарядов взрывчаткой и так далее...

Подробность, скрупулезность этих показаний может даже вызвать недоумение: почему бы не ограничиться перечислением лишь главных действий в ходе подготовительных работ? А между тем это был тактический прием защиты товарищей: всячески «вызывая огонь на себя», Александр старался отвлечь внимание следствия от них, в частности и прежде всего от акушерки Марии Александровны Ананьиной, которая действительно была ни в чем не повинна. Впоследствии она говорила дочери,

что «стремление Александра Ильича взять все на себя одного ощущалось даже тягостно другими».

Еще более тягостно было Александру видеть на скамье подсудимых Ананьину. Он с глубокой душевной болью думал о том, что только по его вине, по непростительной его небрежности, эта ни в чем не повинная женщина оказалась привлеченной к судебной ответственности. В том же винил себя, глядя на Михаила Васильевича Новорусского, сидевшего среди обвиняемых почти рядом с ним. А вина и в самом деле была.

Когда потребовалась надежная квартира для приготовления последней порции динамита, Александр обратился к Новорусскому. Они были знакомы по центральному кружку Союза студенческих землячеств. Воспитанник духовной академии, Михаил Новорусский не принадлежал к числу студентов, мысливших революционно. Революционером его сделали двадцать лет шлиссельбургского заточения. Но он был верным товарищем и сразу же согласился помочь Александру. Он направил его к матери своей невесты, акушерке Ананьиной, которая жила в окрестностях Петербурга, в Парголове, рекомендовав ей Александра репетитором ее сыну. Ульянов пробыл у Ананьиной несколько дней, приготовил динамит и вернулся в Петербург. Но квартира Ананьиной стала известной Канчеру. Он туда отвозил все, что требовалось Александру для работы. К тому же, уезжая от Ананьиной в

Петербург, Александр Ильич оставил в ее квартире часть химической посуды и небольшую порцию нитроглицерина — на случай, если приготовленного динамита не хватит.

Так оба, Новорусский и Ананьина, оказались в числе террористов, судимых Особым присутствием Правительствующего сената. Естественно, и в период следствия, и на суде Александр старался отвести от них беду, но безрезультатно. Новорусский был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости, Ананьина — к двадцатилетним каторжным работам.

Конечно, не в судебных инстанциях фактически решалась судьба участников заговора. Уже 1 марта министр внутренних дел граф Толстой письменно докладывал царю о задержании на Невском метальщиков и сигнальщиков, о том, что на предварительном допросе один из них, Генералов, признался в намерении бросить найденный у него метательный снаряд «под карету государя императора», что прочие арестованные «пока от каких-либо объяснений отказываются». Он предложил также напечатать сообщение об этом в «Правительственном вестнике».

«Во избежание преувеличенных толков в городе,— значилось в угодливо-витиеватом обращении придворного,— по поводу ареста на Невском проспекте трех студентов с метательными снарядами, я полагал бы необходимым напечатать в «Правительствен-

ном вестнике» краткое сообщение об обстоятельствах, сопровождавших их задержание, и на приведение сего предложения в исполнение долгом поставляю себе всеподданнейше испрашивать Высочайшее Вашего Императорского Величества соизволение.

Граф Дмитрий Толстой».

Царь согласился с предложением «всеподданнейшего» министра, но пошел гораздо дальше. «Собственною Его Величества рукою» на толстовском документе было начертано: «Совершенно одобряю и вообще желательно не придавать слишком большого значения этим арестам. По-моему, лучше было бы узнавать от них все, что только возможно, не предавать их суду и просто без всякого шума отправить в Шлиссельбургскую крепость. Это самое сильное и неприятное наказание».

Что заставило Александра III в дальнейшем изменить свое монаршее мнение, мы не знаем. Возможно, роковую роль сыграла программа террористической группы, особенно заголовок, который декларировал ее кровное родство с «Народной волей». 22 марта, получив копию только что восстановленной Ульяновым по памяти программы, царь немедленно знакомится с нею. Не этим ли объясняется его желание разузнать через таких словоохотливых членов террористической группы, как Канчер, Горкун, хоть что-то, пока не узнанное, неизвестное, о ненавистной и все еще страшной ему «Народной воле»? Во всяком случае, когда

Мария Александровна Ульянова обратилась к нему с письменным прошением, умоляя разрешить ей свидание с сыном, царь согласился и объяснил Толстому, что такие свидания министр должен использовать для того, чтобы через мать выудить у сына хоть намек, не стоял ли за спиной преступных студентов кто-то из невыловленных агентов «Народной воли». И Толстой попытался это осуществить, но, конечно, не преуспел.

Свидания матери и сына были непередаваемо мучительны для обоих. Мария Александровна, глядя на сына, слыша его голос, не могла отделаться от мысли, что он уже на пороге смерти и что это свидание, быть может, последнее. У Александра тоже разрывалось сердце, ему чудился в глазах матери молчаливый укор: «Что ты сделал, мой мальчик! Разве я переживу это?»

Суд начался 15 апреля. Дело разбиралось в Особом присутствии сената, с участием сословных представителей. Судебный процесс шел в зале, где уже не раз громко звучали голоса революционных народников, террористов «Народной воли». Первоприсутствующий (председатель), сенатор Дейер, не первый раз отправлял их из этого зала на виселицу или на медленную смерть в казематах Петропавловки. Отправит и этих новичков, которые только что были подняты его возгласом со скамей, чтобы слушать чтение обвинительного акта. Потом он их удалит и будет вызывать по одному для дачи показаний.

Ульянов был готов к бою. Он спокоен, внимателен ко всему. Разыскав глазами Чеботарева, которого вызвал для показаний в защиту Новорусского, поклонился недавнему сожителю по квартире, и тот ответил таким же глубоким поклоном. Лукашевичу успел шепнуть: «Если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня». Лукашевич вспоминал впоследствии, что в эту минуту ему стало ясно решение Александра Ильича сознательно идти на смерть.

Александр был готов и к схватке с экспертом, профессором артиллерийской академии генерал-майором Федоровым, насчет различных способов приготовления динамита. Это было нужно для защиты Ананьиной. Эксперт утверждал, что Ананьина не могла не знать о тайном приготовлении Ульяновым в ее квартире какого-то химического состава. Аргументом служило то, что изготовление динамита неизбежно сопряжено с выделением резкого и удушливого запаха. Когда на втором заседании суда Федоров в категорической форме заявил об этом, бывший студент посрамил маститого, но недобросовестного профессора, указав, что существует простой способ, позволяющий полностью избежать выделения какого-либо запаха. Именно этим способом и готовился в Парголове динамит.

На несколько ходов вперед была обдумана и защита Новорусского — недаром Саша Ульянов еще в гимназии славился как отменный шахматный игрок. Что же касается

программной речи, то она в основе своей сложилась еще до суда, в стенах одиночки.

Свидание с товарищами после долгого перерыва подняло его дух. Они тоже были спокойны и решительны. А Генералов и Андреюшкин даже веселы. Дейер не раз на заседаниях грубо обрывал их смех, называя его крайне неприличным и вызывающим. Даже грозился удалить из зала суда. Лишь Канчер, Горкун и Волохов трусливо жались друг к другу на краю массивной дубовой скамьи подсудимых, стоявшей во втором ряду.

Ульянов отказался от защитников, решив выступать в прениях сторон сам, но не для собственной защиты, а для программного заявления. К сожалению, его речь была застенографирована очень плохо. Но те, кому удалось ее слушать, были поражены железной логикой и силой убеждений.

Литератор В. Поссе со слов сенатора Таганцева писал впоследствии: «Он смотрел на судей, как на врагов, и пощады от них не ждал. Но и на врагов произвела сильное впечатление его смелая речь». А вот слова самого Таганцева: «Вспоминаю, что из сподсудимых он производил наиболее симпатичное впечатление, как искренне преданный тому делу, за которое он шел на казнь; тем идеям, осуществление коих, хотя бы и путем террора, он считал необходимым для счастья и блага родины». Издававшийся за границей нелегальный печатный орган «Свободная Россия» в начале 1889 года

писал: «Речь, произнесенная Ульяновым, произвела очень сильное впечатление; ее сравнивают с речью Желябова...»

Мария Александровна, присутствовавшая на этом заседании суда, рассказывала своей старшей дочери:

«— Я удивилась, как хорошо говорил Саша: так убедительно, так красноречиво. Я не думала, что он может говорить так. Но мне было так безумно тяжело слушать его, что я не могла досидеть до конца его речи и должна была выйти из зала».

«Относительно своей защиты,— начал свою речь Александр,— я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною. Поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это преступление».

Он характеризовал его как процесс, типичный для каждого революционера, становящегося в ряды террористов. «Среди русского народа,— говорил он,— всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».

Вину за террористические действия, за возникновение в прошлом — и непременно в

будущем — заговоров и покушений Александр целиком возлагал на царя, на его правительство, на общественный строй и полностью освобождал от нее террористов, вынужденных силою вещей прибегнуть к оружию.

Вообще главным в его речи было хорошо аргументированное утверждение, что сама существующая система правления, весь общественный строй России неизбежно рождают самые крайние способы и формы борьбы за политические свободы. Общество неизбежно и бурно протестует против реакционного режима, в условиях которого «невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна». Стоит открыть народу хотя бы маленькую отдушину для свободной политической мысли, как террор сам собою немедленно исчезнет из практики политической борьбы.

Как ни плотно были закрыты двери суда, многое через них просочилось, и общественное мнение прогрессивных и либеральных кругов пришло к выводу, что политический итог процесса явно сложился не в пользу царской власти. Но это, естественно, не могло повлиять на решение суда.

Приговор был жесток до предела: все подсудимые, без единого исключения, присуждались к «смертной казни через повешение», причем на них издевательски еще возлагались судебные издержки — «поровну, с кру-

говой друг за друга ответственностью и с принятием таковых на счет казны при несостоятельности подсудимых».

Последний пункт приговора гласил, что суд находил возможным, учитывая «близкий к несовершеннолетию возраст» Канчера, Горкуна и Волохова, а также ввиду их «чистосердечного раскаяния и содействия при самом начале дознания к раскрытию преступления», ходатайствовать перед царем о замене всем троим смертной казни двадцатилетними каторжными работами. О такой же замене он ходатайствовал в отношении Ананьиной. Наконец, испрашивалась монаршая милость в виде замены смертной казни иными наказаниями Пашковскому, Пилсудскому, Шмидовой и Сердюковой.

Таким образом, смертный приговор распространялся на семерых подсудимых: Ульянова, Шевырева, Андреюшкина, Генералова, Осипанова, Лукашевича и Новорусского. Одиннадцать из пятнадцати приговоренных, среди которых были Шевырев, Лукашевич, Новорусский, обратились к Александру III с «всеподданнейшим» ходатайством о помиловании. Двум последним царь заменил повешение бессрочным заточением в Шлиссельбургскую крепость, Шевыреву было отказано, остальным из подавших утверждены наказания, о которых ходатайствовало Особое присутствие. Шлиссельбургская крепость готовилась к повешению пяти осужденных на смерть.

На свидании после суда Мария Александровна долго убеждала сына, как она впоследствии рассказывала Анне Ильиничне, подать прошение о помиловании. Александр сказал, что после своих признаний на суде он так поступить не может. Ведь обращение к царю требовало бы признания вины, покаянных слов. А он за собой никакой вины перед царем не признает и покаянных слов написать не может. И еще говорил, что замена казни вечным заточением хуже смерти, что таким узникам разрешается читать только духовные книги. Разве это жизнь? «Этак можно до полного идиотизма дойти».

— Неужели ты бы этого желала для меня, мама?

Потерявшая всякую надежду, мать нашла в себе силы только для того, чтобы спросить, нет ли у него какого-нибудь желания.

Александр задумался на минуту. Еще раньше, на одном из свиданий, он просил выкупить золотую университетскую медаль, заложенную за 100 рублей. Продав за 130 — такова ее продажная цена, Мария Александровна должна была отдать 30 рублей некоему Туликову. Просил он также вернуть две одолженные им редкие книги их владельцам... Нет, больше никаких обязательств перед товарищами не было. И он сказал, что хотелось бы почитать Гейне. Мария Александровна растерялась, не знала, как и где раздобыть томик стихов. Тогда присутствовавший на свидании молодой прокурор Князев, потрясенный нравствен-

ным обликом Александра Ульянова, взялся выполнить последнее желание приговоренного к смерти и сдержал свое слово.

24 апреля Александр снова был вызван на свидание. Но вместо матери увидел... мужа двоюродной сестры — Матвея Леонтьевича Песковского. Это было как удар обуха по голове. Александр сразу же решил, что нежданный посетитель пришел с ужасной вестью о матери.

Бойкий литератор и говорун, как характеризовала Песковского Анна Ильинична, был доволен произведенным впечатлением. Оно помогало ему в намерении заставить Александра просить царя о помиловании.

Нет, нет, Мария Александровна жива, но прийти не могла, так как находится на грани смерти или потери рассудка. И он, боясь малейшего промедления, добился-таки разрешения на свидание, чтобы сказать об этом ему, Александру, и напомнить о его долге перед матерью и семьей.

Долг, долг!.. Нет! Он, Александр, уже простился с жизнью, и нет у него больше никаких долгов перед живыми.

Но Песковский не переставал твердить о долге, снова и снова напоминая: мать казни не перенесет. Да и что, если говорить начистоту, удерживает Александра от того, чтобы обратиться к монарху? Гордость! Самолюбивая гордость, ничего больше. Ради нее и приносятся в жертву жизнь матери, судьба всей семьи.

У Александра мутилось сознание, он както весь ослабел. Не выдержав этой нравственной пытки, сдался, обратился к царю со следующими строками: «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить ваше величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.

Александр Ульянов».

Анна Ильинична писала, что это была «последняя, может быть, горшая из всех нравственная пытка». Она к тому же была и совершенно бесполезная. «Ничего не вышло, потому что он написал совсем не так, как я говорил ему,— передавал впоследствии Песковский Анне Ильиничне.— Никакого раскаяния, и подпись даже не «верноподданный», а просто «Александр Ульянов».

Александру III пишет Александр Ульянов! Конечно, на это прошение и внимания не обратили, и оно не было даже показано царю».

8 мая в 3 часа 30 минут утра разбуженным за полчаса до казни смертникам было объявлено о предстоящем проведении приговора в исполнение. Докладывая об этом царю со слов товарища прокурора Петербургского окружного суда Щегловитого, министр внутренних дел Д. Толстой писал, что «все они сохранили полное спокойствие и отказались от принятия святых таинств». На эшафот вошли «бодро и спокойно».

Казнили их в два приема, так как двор старого тюремного здания был невелик и установить более трех виселиц оказалось невозможным. Сначала вывели Генералова, Андреюшкина и Осипанова. Когда их тела были сняты с виселиц, на двор вывели Ульянова и Шевырева. Все совершилось так тихо, что узники Шлиссельбурга, в том числе Новорусский и Лукашевич, спали спокойным сном. Лишь много времени спустя им стало известно о казни пятерых товарищей.

Надежда Константиновна Крупская писала:

«Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы.

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, причинила бы ему только глубокое горе или в лучшем случае вызвала бы в нем решимость и стремление идти по пути брата. При данных условиях судьба брата обострила лишь работу мысли, выработала в нем необычайную трезвость, уменье глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам».

В удивительной семье Ульяновых формировался еще один революционер, великий пролетарский революционер, ставший всемирно известным под именем — Ленин.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	3
НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА	10
МАЛЫЕ ПРИЧИНЫ — БОЛЬШИЕ СЛЕДСТВИЯ	34
ИСКАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ	62
НАУКА СКЛОНЯЕТСЯ ПЕРЕД ПОЛИТИКОЙ	92
УДАР, ЧРЕВАТЫЙ СМЕРТЬЮ	108
РАЗГОВОР, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ ВСЮ ЖИЗНЬ	127
КРЕСТНЫЙ ПУТЬ НА ГОЛГОФУ	148

Владимир Андреевич
Сутырин

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

Издание третье

На первой странице обложки
фото Александра Ульянова
и семьи Ульяновых

Заведующий редакцией *Н. Р. Андрухов*
Редактор *В. П. Шальнева*
Младший редактор *Д. В. Калько*
Оформление серии художника *В. И. Терещенко*
Художественный редактор *С. Д. Алексеев*
Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 2105
Сдано в набор 12. 06. 78. Подписано в печать 27. 10. 78. А00191. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 6,29. Учетно-изд. л. 5,55. Тираж 200 000 (1—150 000) экз. Заказ № 3036. Цена 30 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Набрано и сматрицировано
в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

Отпечатано с матриц в типографии изд-ва «Звезда»
г. Пермь, ул. Дружбы, 34. Зак. 1894.



Саша
и Аня Ульяновы.
1870 г.



Симбирск. Дом на Московской улице,
в котором жила семья Ульяновых
с 1878 по 1887 г. *(вид со двора)*



Комната Александра Ильича


№

ДѢЛО

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

Студента
Александра Ильича
Ульянова

Начато 2 [illegible] 1883

Кончено

Дело студента Петербургского университета А. И. Ульянова



«Мы пойдем другим путем».
Художник П. Белоусов

30 коп.

Серия
«СЕМЬЯ
УЛЬЯНОВЫХ»

ОТЕЦ

ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

А.И.УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА

ОЛЬГА УЛЬЯНОВА

М.И.УЛЬЯНОВА

МЛАДШИЙ БРАТ